

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](http://TheLib.Ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

[Другие книги серии «Эссе»](#)

Приятного чтения!

Вирджиния Вулф

Орландо

© Е. Суриц, перевод, 1997

© А. Аствацатуров, статья, 2000

© «Азбука-классика», 2004

ГЛАВА 1

Он – потому что пол его не подлежал сомнению вопреки двусмысленным ухищрениям тогдашней моды – был занят тем, что делал выпады кинжалом возле головы мавра, покачивающейся на стропиле. Была она цвета старого футбольного мяча и почти от него неотличима, если бы не впалые щеки да скупые прядки сухих и жестких волос – как пух на кокосе. Отец Орландо – или, может быть, это дед – снес ее с саженных плеч язычника, увидевшего свет в диких пустынях Африки; и теперь она непрестанно и нежно покачивалась от ветра, задувавшего в чердачные комнаты гигантского замка, который принадлежал отсежнему ее лорду.

Праотцы Орландо скакали верхами по полям асфodelей, и по кремнистым полям, и по полям, омываемым чуждыми реками, и немало сносили голов самого разного цвета со множества плеч, и привозили их домой, и вешали на стропилах. Орландо поклялся, что продолжит дело предков. Но покамест ему не исполнилось и семнадцати, еще не дорос, его не брали с собой скакать по Африке или Франции, а потому он тихонько ускользал от матери, от павлинов в саду, крался на чердак и там делал выпады кинжалом, приседал, наклонялся, резал воздух клинком. Иногда он перерезал веревку, и тогда голова скатывалась на пол, и приходилось снова ее привязывать, не без почтения крепя почти в недосыгаемости, и враг победно скалился черным, иссохшим ртом. И голова качалась, качалась, потому что дом, в верхнем этаже которого жил Орландо, был так громаден, что ветер навеки попадался в ловушку и метался по чердаку, не находя выхода, зимою и летом. Предки Орландо были высокородны – всегда, с тех пор, как они были вообще. Они поднялись из северного тумана в коронах пэров. И полосы тьмы на полу не оттого ли так графили желтую завось, что солнце вливалось на чердак сквозь просторный герб витража? Орландо сейчас стоял в самом центре желтого геральдического леопарда. Когда он положил руку на подоконник, чтобы отворить окно, рука стала красной, голубой и желтой, как крыло бабочки. И любители символов, охотники до их расшифровки, могут взять на заметку, что, тогда как прелестные ноги, стройное тело и отличный разворот плеч Орландо окрасились всеми геральдическими оттенками, лицо его, когда он отворил окно, озарялось исключительно самим солнцем. Более светлого, строптивного лица вы себе и представить не можете. Блаженна мать, которая произвела такого на свет, еще блаженней описывающий его жизнь биограф! Ей никогда не придется печалиться, ни ему – нуждаться в услугах поэта или романиста. От подвига к подвигу, от победы к победе, от должности к должности будет следовать герой, и его летописец за ним, покуда не достигнут оба того положения, которое явится вершиною их мечтаний. Орландо, судя по внешности, был в точности создан для подобного поприща.

Розовые щеки подернулись персиковым пушком; пушок над губой всего лишь чуть-чуть загустевал по сравнению с пушком на щеках. Сами губы были резко очерчены и слегка изогнуты над безупречным рядом миндальнейше-белых зубов. Без сучка без задоринки был задорно-стремительный нос; волосы темные; и маленькие, тесно прижатые к голове ушки. Жаль, однако, что сей перечень юных совершенств будет неполон без упоминания о лбе и глазах. Жаль, что люди редко появляются на свет лишенными того и другого; ибо, едва мы взглянем на стоящего у окна Орландо, мы вынуждены будем признать, что глаза у него были, как фиалки в росе, громадные, будто переполненные их расширяющей влагой; а лоб – как мраморный купол, зажатый меж медально-гладких висков. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза – и мы Бог знает до чего можем договориться. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза – и мы вынуждены будем признать тысячи неприятных вещей, мимо которых обязан скользнуть всякий уважающий себя биограф. Увиденное его раздражало, – например, его мать, весьма прекрасная собою дама в зеленом, направляющаяся кормить павлинов в сопровождении Туитчетт, своей горничной; увиденное его восхищало – деревья, птицы; влюбляло в смерть – вечернее небо, снижающиеся грачи; и, взлетев по спиральным ступенькам мозга – а мозг был вместительный, – увиденное, смешавшись с садовыми звуками – треск деревьев, стук топора, – вызывало в нем разгул и сумятицу чувств и страстей, которые ненавидит всякий уважающий себя биограф. Продолжим, однако, – Орландо медленно втянул голову в плечи, сел за стол и с отвлеченным видом человека, привыкшего делать это ежедневно в определенный час, вынул тетрадь, озаглавленную «Этельберт. Трагедия в пяти актах», и обмакнул старое испачканное гусиное перо в чернильницу.

Скоро он намарал страниц десять стихов. Мысль его, очевидно, была быстра, но абстрактна. Порок, Преступление, Нужда были персонажи драмы; Король и Королева правили незначаемыми территориями; ужасные замыслы их поглощали; благородные чувства снедали; ни слова не говорилось так, как сказал бы он сам, но все выворачивалось с быстротой и ловкостью, которые, учитывая его возраст – ему еще не исполнилось и семнадцати – и тот факт, что шестнадцатому столетию оставалось скрипеть еще несколько лет, – были поистине замечательны. Но вот наконец он запнулся. Он, как все и всегда молодые поэты, описывал природу, и, чтобы как можно точнее передать оттенок зеленого, он взглянул (проявляя незаурядную смелость) на сам зеленый предмет, которым в данном случае оказался лавровый куст у него под окном. После чего, разумеется, о писании уже не могло быть и речи. В природе зеленое – это одно, и зеленое в литературе – другое. Природа со словесностью не в ладу от природы; попробуйте-ка их совместить – они изничтожат друг друга. Оттенок зеленого, который разглядел Орландо, сразу нарушил рифму, сломал ему метр. Но природа еще и не на такое способна. Взгляните только в окно, на пчел между цветов, на зевнувшего пса, на солнце, клонящееся к закату, только подумайте: «Много ли мне суждено еще увидеть закатов» – и т. д. и т. п. (мысль чересчур известная, чтобы приводить ее здесь целиком), и вы уроните перо, схватите плащ и выскочите из комнаты, споткнувшись при этом о расписной сундук. Потому что Орландо был чуточку неловок.

Он старался никого не встретить. Стаббс, садовник, шел по тропе. Орландо прятался за деревом, пока тот не прошел мимо. И скользнул к боковой калитке. Он обходил стороной все конюшни, все псарни, пивоварни, плотницкие, бани – все места, где вытопляли воск, забивали скот, ковали подковы, тачали сапоги, ибо замок вмещал в себя целый город, гудевший людьми, занятыми разными ремеслами, – и, никем не замеченный, он вышел на заросшую, бежавшую вверх по холму тропку. Есть, наверное, связь между свойствами: одно тянет за собой другое; и биограф обязан тут привлечь свое внимание к тому факту, что неловкость часто бывает связана с любовью к уединению. Раз он споткнулся о сундук, Орландо, конечно, любил уединенные места, просторные виды – любил чувствовать, что он один, один, один.

И после долгого молчания он, наконец-то открыв уста, выдохнул: «Я один». Он очень быстро пошел в гору через папоротники и кусты боярышника, спугивая диких птиц и оленей,

и вышел к месту, осененному одиноким дубом. Это было высоко, так высоко, что девятнадцать графств Англии были видны внизу, а в ясные дни и все тридцать, а то и сорок графств – в уж очень хорошую погоду. Иногда можно было увидеть Ла-Манш, неустанно кативший свои волны. Можно было увидеть реки, и скользящие по ним лодочки, и плывшие к морю галеоны; и армады, а над ними пушечный пух и дальний пушечный гром; и форты по берегам; и замки среди лугов; а там сторожевую башню, там крепость, и снова просторный замок, как у отца Орландо, огромный, как город, и обнесенный стеной. К востоку были шпили Лондона, городской дым; а на самом, наверное, горизонте, когда ветер дул куда следует, скалистая вершина и острые зубцы Сноудона ¹сквозили между облаков. Минуту Орландо стоял подсчитывая, разглядывая, узнавая. Вот замок отца, вот дядин. Тетушкины – те три башни среди деревьев. Поля были их, и леса; фазаны, олени и лисы, бобры и бабочки.

Он глубоко вздохнул и припал – в движениях его была страстность, заслуживающая этого слова – к земле у корней дуба. Ему нравилось в быстротечности лета чувствовать под собою земной хребет, за каковой принимал он твердый корень дуба; или – ибо образ находил на образ – то был мощный круп его коня; или палуба тонущего корабля – не важно что, лишь бы твердое, потому что ему непременно хотелось к чему-то прикрепиться плавучим сердцем – сердцем, тянущим в путь; сердцем, которое будто наполняли тугие, влюбленные ветры, каждый вечер, едва он вырывался на волю. Вот он и прикрепил его к дубу и так лежал, покуда постепенно унимался трепет в нем самом и вокруг; затихнув, повисали листочки; замирали олени; останавливались летние бледные облака; затекали и тяжелели его члены; и он очень тихо лежал; и олени уже подступали ближе, и над ним кружили грачи, и ласточки, ныряя, припадали к нему, голову близко-близко облетали стрекозы, – будто вся щедрость, все плодородие летнего вечера влюбленным наметом окутывали его тело.

Через час, наверное, – солнце быстро скатывалось к горизонту, белые облака тронуло багрецом, холмы лиловостью, синевою лес, и долины почернели – протрубил рог. Орландо вскочил. Пронзительный зов шел из глубины долины; откуда-то из темноты; из тесноты; из лабиринта; из города, препоясанного стенами; он шел из недр собственного его величавого дома, темного прежде, но, пока он на него смотрел и одинокому рогу вторили все новые, все более настойчивые зовы, дом этот стряхивал с себя темноту и вот уже засветился огнями. Были огоньки мельтешащие, поспешные, как когда слуги бегут по коридору на господский колокольчик; были высокие, важные огни, какие горят в пустынности пиршественных зал в ожидании гостей; и еще другие огни ныряли, парили, тонули, взлетали, как и положено огням в руках у слуг, когда те кланяются, преклоняют колена, со всею пышностью вводя в покои владычицу, высадившуюся из кареты. Кони трясли плюмажами. Пожаловала Королева.

Орландо никуда уже не смотрел. Он мчался вниз. Метнулся в ворота. Взлетел по винтовой лестнице. К себе. Чулки швырнул в один угол, куртку – в другой. Он смачивал волосы. Тер руки. Полировал ногти. Перед маленьким зеркалом, при двух оплывших свечках, натянул алые бриджи, надел плоеный воротник, тафтяной жилет, туфли с помпонами вдвое больше георгинов – все за десять минут ровно по часам. Он был готов. Он был весь красный. Задышался. Но он опаздывал ужасно. Срезая расстояние, он спешил изведенным путем по анфиладам, переходам, лестницам к пиршественной зале, на пять акров отдаленной от всех замковых сторон. Но, как он ни спешил, скользя мимо людских и девичьих, он вдруг остановился. Дверь гостиной миссис Стьюкли стояла настежь, – без сомнения, сама она со всеми своими ключами побежала к хозяйке. Но там, за обеденным столом прислуги, перед пивной кружкой и листом бумаги, сидел обрюзгший, обшарпанного вида господин с грязноватыми манжетами и в темном домотканом платье. Он держал в руке перо, но не писал. Казалось, он перекачивал, примеривал в уме какую-то мысль, пока не приладит ее окончательно к своему вкусу. Глаза, выкаченные, застланные, похожие на странные зеленые камни, он вперил в одну точку. Орландо он не видел. Как ни спешил

Орландо, он застыл. Уж не поэт ли перед ним? Уж не стихи ли сочиняет? «Расскажите мне, – хотелось крикнуть Орландо, – расскажите обо всем на свете», ибо о поэтах и стихах у него были самые дикие, самые нелепые понятия, – но как вы заговорите с человеком, когда он вас не видит? Когда он видит вместо вас людоедов, например, сатиров, а то и дно морское? А потому Орландо стоял и смотрел, как тот вертел в руке перо и так и эдак и думал с неподвижным взором и потом вдруг быстро набросал несколько строк и снова поднял глаза. После чего, охваченный робостью, Орландо поспешил дальше и влетел в пиршественную залу как раз в последнюю секунду, чтобы броситься на колени, смущенно поникнуть головой и протянуть чашу розовой воды самой великой Королеве.

Из-за своей робости он видел только опущенную в воду руку, унизанную перстнями; но и того довольно.

Рука врезалась в память: тонкая, с длинными пальцами, как бы навечно округленными на скипетре или державе; нервная, злая, нездоровая рука; повелительная; рука, по манию которой слетает с плеч любая голова; рука, как догадался он, соединенная со старым телом, которое пахнет шкапом, где меха блюдутся в камфарных шариках, и, однако, обряжено в парчу и жемчуга – прямое, как струна, несмотря на мучительную ломоту в суставах; не сдающееся, как бы ни терзали его страхи; а глаза у Королевы были светло-желтые. Все это он почувствовал, покуда посверкивали в воде великолепные перстни, а потом голову ему странно ждали – чем, возможно, и объясняется тот факт, что он не видел больше ничего хоть сколько-нибудь достойного внимания летописца. К тому же в мыслях его клубился вихрь противоположных впечатлений – черная ночь и полыхание свечей, обшарпанный господин и великая Королева, сонные поля и толкотня слуг, – словом, он не видел ничего, точнее, видел только руку.

Королева же, из-за аналогичного стечения обстоятельств, видела, вероятно, только голову. Но если можно по руке составить представление о теле, вмещающем все атрибуты великой Королевы – ее вздорность, храбрость, ее хрупкость и безжалостность, – то, разумеется, и голова, с тронной высоты увиденная той, чьи глаза, если верить восковым персонам в Вестминстерском аббатстве, всегда глядели зорко, тоже поставляла достаточную пищу для умозаключений. Длинные локоны, склоненные перед нею так смиренно, так невинно, разве не свидетельствовали о паре стройнейших ног, на каких только стаивал когда-нибудь юный вельможа, о фиалковом взоре и золотом сердце, о верности владычице и мужских чарах – всех тех чертах, которые старая женщина ценила тем сильнее, чем меньше они оставались ей подвластны. Ибо Королева постарела и прежде времени согнулась. В ушах ее вечно гремел пушечный гром. Перед глазами блистала то капля яда, то клинок. Сидя за столом, она прислушивалась и слышала канонаду со стороны Ла-Манша; она вздрагивала: что это – ругань? шепот? Невинность, простота кажутся еще милей, когда их сопоставишь с эдаким мрачным фоном. А потому в ту же ночь, если верить преданию, пока Орландо крепко спал, она, по всем правилам скрепив пергамент своею подписью и печатью, отказала огромный уединенный замок, прежде бывший в пользовании архиепископа, а потом и короля, – отцу Орландо.

Орландо всю ночь проспал в полном неведении. Королева его поцеловала, а он и не заметил. Но может быть, – кто разберется в женском сердце? – именно его неведение и то, как он вздрогнул, когда ее губы коснулись его щеки, – именно это все и удержало воспоминание о юном родиче (они были родня) в сердце Королевы? Так или иначе, не прошло и двух тихих сельских лет – Орландо едва успел сочинить каких-нибудь двадцать трагедий, всего дюжину поэм и десятка два сонетов, – как поступило известие, что Королева ждет его в Уайтхолле.

– А! – сказала она, глядя, как он приближается к ней длинной галереей. – А вот и мой непорочный мальчик! (В облике его сохранялась чистота, намекавшая на непорочность, тогда как слово в прямом значении было уже к нему неприложимо.)

– Приблизься! – сказала она. Прямая, как проглотив аршин, она сидела у огня. Она задержала его на расстоянии метра и мерила взглядом с головы до пят. Сверяла ли она те,

прежние наблюдения с увиденным теперь воочию? Подтвердились ли ее догадки? Глаза, рот, нос, грудь, бедра, руки – все это она оглядела; и губы у нее явственно подрагивали; но при виде его ног она расхохоталась вслух. Он был – живой образчик юного вельможи. Да, но каков он изнутри? Она воткнула в него желтый ястребиный взор, словно намереваясь насквозь пробуровать душу. Он не дрогнул, только зарделся, как дамасская роза, что ему очень шло и подобало. Сила, благородство, возвышенность мечтаний, безрассудство, юность, поэзия, – она читала как по раскрытой книге. Вдруг она стащила с пальца кольцо (сустав заметно вздулся) и, надев ему на палец, пожаловала его в камергеры и казначеи; потом наложила на него цепи службы и, повелев ему преклонить колено, привязала к стройнейшей части последнего усыпанный драгоценностями орден Подвязки. Отныне Орlando ни в чем не было отказа. При торжественных выездах он гарцевал рядом с королевской дверцей. Его отправили в Шотландию с грустным посольством к несчастной королеве. Он собрался уж отплыть на польские поля сражений, но тут его отозвали. Как могла она отдать на растерзание это нежное тело, как допустить, чтоб эта кудрявая голова скатилась в пыль? Она его держала при себе. В час победы, в час высшего торжества, когда гремели пушки Тауэра, и воздух так пропитался порохом, что впору нюхать его вместо табака, и толпы восторженно ревели у нее под окнами, она привлекла его к себе, к подушкам, на которые уложили ее фрейлины (она была слаба, стара), и вынудила уткнуть лицо в сей удивительный состав – она уже месяц не меняла платье, – от которого пахло, подумал он, вспомнив впечатления детства, ну в точности как из старого материнского шифоньера, где держали меха. Он поднялся, чуть совсем не задохшись в этих объятиях.

– Вот она! Вот она – моя победа! – шепнула Королева, и тут как раз взвилась ракета и облила багрянцем царственные щеки.

Да, старуха его любила. Королева, которая умела распознать мужчину, хотя, как поговаривали, и не совсем обычным способом, замыслила для него великолепную, блистательную будущность. Ему дарили земли, отписывали замки. Он будет утехой ее закатных дней – целебным бальзамом, могучей опорой на склоне сил. Она расточала эти посулы и странные, деспотические нежности (они теперь были в Ричмонде), проглотив аршин, в негнушейся парче сидя у огня, который, как его ни раздували, все ее не согревал.

А тем временем надвигались долгие зимние месяцы. Деревья в парке сковало холодом. Река уже с ленцой катила воду. И вот однажды, когда выпал снег, и толпились тени в темных залах, и в парке трубили олени, она увидела в зеркальце, которое всегда держала при себе, боясь соглядатаев, сквозь двери, которые всегда держала отворенными, боясь убийц, как юноша – нет! ужель Орlando? – целует девушку. О Господи! Да кто же эта наглая вертихвостка? Вцепившись в золотую рукоять кинжала, она бешенохватила по зеркальцу. Зазвенело стекло; сбежались люди; ее подняли и снова усадили в кресла; но она так и не оправилась от этого удара и, покуда дни ее влачили к концу, часто сетовала на предательство мужчин.

Возможно, Орlando и виноват; но, в конце концов, нам ли его судить? Век был елизаветинский; их нравы были не то что наши нравы; ну и поэты тоже, и климат, и даже овощи. Все было иное. Сама погода, холод и жара летом и зимой были, надо полагать, совсем, совсем иного градуса. Сияющий, влюбленный день отграничивался от ночи так же четко, как вода от суши. Закаты были гуще – красней; рассветы – аврористее и белей. О наших сумерках, межвременье, о медленно и скучно скудеющем свете не было тогда и помину. Дождь или хлестал ливнем, или уж совсем не шел. Солнце сияло – или стояла тьма. Переводя все это в область метафизики, как водится у них, поэты прелестно пели о том, как вянут розы, опадают лепестки. Миг краток, они пели, миг минует, и долгой ночью все уснут. Ухищрения теплиц и оранжерей ради сохранности летучих лепестков и мигнов – были не по их части. О вялых затеях и половинчатости нашего усталого и сомнительного века они понятия не имели. Во всем был напор. Цветок цветет, вянет. Солнце встает, заходит. Влюбленный любит, бросает свой предмет. И то, что поэты рекомендовали в стихах, юноши исполняли на деле. Девушки были – розы. Красота их была быстротечна, как красота цветка.

Их следовало рвать до наступления темноты, ибо день краток и день – все. А потому, если Орlando, следуя велению климата, поэтов, самого века, сорвал с подоконника цветок, когда на землю выпал снег, а рядом бдела Королева, – неужто мы его осудим? Он был молод, неискушен – он уступал природе. Что же до девушки, мы не лучше королевы Елизаветы знаем ее имя. Дорис, Хлорис, Делия, Диана? Он всех по очереди их зарифмовал. Это могла быть знатная леди, могла быть и служанка. У Орlando был широкий вкус – он любил не одни садовые цветы: полевые цветочки, даже сорные травы равно пленяли его воображение.

Здесь, по обычаю биографов, мы грубо обнажим любопытную черточку Орlando, объясняемую, видимо, тем фактом, что одна из его бабок носила фартук и подойник. Несколько крупиц кентской и сассекской грубой почвы подметались к тонкому, изысканному току из Нормандии. Сам он считал, что смесь чернозема с голубой кровью вовсе недурна. Так или иначе, он всегда тянулся к низкому обществу, в особенности из грамотеев, которым ум так часто мешает выбиться в люди, – будто подчинялся родственному зову. В ту пору жизни, когда в голове его вечно жужжали рифмы и он редко ложился спать, не намарав предварительно какой-нибудь выпренности, шейка иной Сокольниковой дочки и смех лесниковой племянницы казались ему предпочтительней, чем все обольщения придворных дам. А потому он повадился ночами к Уоппинг-оулд-стеэрс ² и тому подобным местам, окутанный серым плащом, дабы скрыть звезду на шее и подвязку на колене. Там, с пивною кружкой в руке, под перестук шаров и кеглей, он слушал повести матросов о том, чего они понатерпелись в земле Гишпанской; о том, как кто-то потерял палец, а кто, увы! и нос, – ибо устный рассказ не всегда столь гладко и приятно закруглен, как занесенный в книжку. Особенно любил он слушать, как они горланят песни об Азорских островах, меж тем как вывезенные оттуда попугайчики поклевывали кольца в их ушах, стучали твердыми, жадными клювами по их перстням и сыпали столь же отборной бранью, что и хозяева. Женщины едва ли уступали этим птичкам свободой манер и вольностью речей. Они взбирались к Орlando на колени, обнимали его за шею и, подозревая, что под его плащом скрыто кое-что незаурядное, спешили к доказательству своих догадок не меньше самого Орlando.

Возможностей представлялось достаточно. Река рано оживала и допоздна кишела яликами, барками и судами всякого разбора. Каждый день уходил в море какой-нибудь славный корабль, держа путь на Индию, а другой, потемнелый, под обтрепанными парусами и с волосатыми чужаками на борту, тяжело вваливался в гавань. Никто не спохватывался, если юноша и девушка валандались на реке после заката, не вскидывал бровь, едва молва заставала их в мирных, сонных объятиях среди мешков с сокровищами. А именно такое приключение и выпало на долю Орlando, Сьюки и графа Камберленда. День был жаркий; ласки бурны; сон их сморил среди рубинов. Позже, ночью, граф, чьи богатства зависели во многом от рискованных испанских предприятий, один, с фонарем, пришел осматривать добычу. Он осветил бочонок. И отпрянул, чертыхаясь. Бочонок обвивали два сонных духа. Суеверный от природы, имея на совести немало тяжких преступлений, граф принял парочку (обоих окутывал алый плащ, а груди Сьюки были чуть не белей вечных снегов в Орландовых стихах) за духов утонувших матросов, вышедших к нему из морской пучины с немым укором. Он крестился. Он каялся. Строй богаделен вдоль Шин-роуд – и поныне осязаемый плод его минутного смятения. Дюжина неимущих приходских старух и посейчас днем попивает чай, а ночью благословляет его светлость за кров над головою, – так запретная любовь на контрабандном судне... однако мораль мы опустим. Орlando, впрочем, скоро наскучил этой жизнью – и не только из-за отсутствия комфорта и убогости соседствующих улиц, но из-за грубых нравов простонародья. Здесь мы должны напомнить, что нищета и преступления не обладали для елизаветинцев столь притягательной силой, какой обладают в наших глазах. Те вовсе не стыдились образованности; ничуть не считали, что родиться сыном мясника – удача и что неграмотность – великая заслуга; отнюдь не полагали, подобно

нам, что «жизнь» и «действительность» непременно сопряжены с невежеством и хамством, равно как и с другими синонимами двух этих слов. Вовсе не в поисках «жизни» вращался Орlando среди простолюдинов; вовсе не в погоне за «действительностью» он их оставил. Но, выслушав в сотый раз, как Джек потерял свой нос, а Сьюки свою невинность – а рассказывали они об этом, надо сказать, прелестно, – он несколько затосковал от повторения, потому что нос может быть отрезан всего одним манером, как и потеряна невинность, – или так ему казалось? – тогда как разнообразие в искусствах и науках живо задевало его любознательность. А потому, навсегда сохранив о них благодарную память, он перестал посещать пивные и кегельбаны, серый плащ засунул в шкаф и, сверкая звездой на шее и подвязкой на колене, снова явился при дворе короля Якова. Он был молод, он был богат, он был хорош собой. Никто не мог быть встречен с большей готовностью и ободрением, чем он.

Во всяком случае, многие дамы – и это достоверно известно – стремились его осчастливить. Три имени, по крайней мере, открыто сопрягались с его именем и титулом: Хлоринда, Фавила, Ефросиния – так он их называл в сонетах.

Изложим по порядку. Хлоринда была весьма изысканная, тонкая особа, – во всяком случае, Орlando был не на шутку ею увлечен шесть с половиной месяцев; но у нее были белые ресницы, и она не выносила вида крови. Из-за жареного зайца на отцовском столе она упала в обморок. К тому же она подпала под влияние попов и сэкономила на нижнем белье, чтобы подавать милостыню. Она взялась наставлять Орlando на путь истинный, и это оказалось так противно, что он сбежал, и не очень в том раскаивался, когда она вскорости умерла от оспы.

Фавила, следующая, была из совсем другого теста. Дочь бедного сомерсетского дворянина, исключительно благодаря собственному усердию и неустанной работе прекрасных глазок она пробилась ко двору, а там уж искусность в верховой езде, изящная поступь и легкость в танцах снискали ей всеобщее расположение. Однажды тем не менее она имела неосмотрительность так отстегать спаниеля, раздравшего ей шелковый чулок (справедливости ради следует заметить, что чулок у Фавилы было немного, да и те в основном простые), что тот чуть не отдал Богу душу под самым окном у Орlando. Орlando, страстный любитель животных, тотчас разглядел, что зубы у Фавилы кривые, а два передних торчат, объявил, что это вернейший признак жестоких и порочных наклонностей в женщине и в тот же вечер разорвал помолвку навсегда.

Третья, Ефросиния, была, безусловно, самым серьезным его увлечением. Она происходила от ирландских Дезмондов, и фамильное ее древо, таким образом, было не менее древним и глубоко укорененным, чем у Орlando. Она была светловолоса, цветущего здоровья и разве самую малость флегматична. Она свободно изъяснялась по-итальянски, сверкала прелестным рядом верхних зубов, хотя нижние, быть может, и были чуточку не так белы. Она показывалась на люди не иначе как с гончей либо со спаниелем на коленях, кормила их белым хлебом с собственной тарелки; дивно пела под клавесин – и всегда была не одета до полудня, так тщательно она следила за собой. Одним словом, самая подходящая партия для высокородного юноши, подобного Орlando, и дело было на мази, стряпчие с обеих сторон уже пеклись о брачном договоре, вдовьей доле наследства, приданом, резиденциях и прочем, что требуется утрясти, чтобы одно большое состояние сочетать с другим, когда вдруг, с резкостью и суровостью, присущими в те времена английскому климату, нагрянул Великий Холод.

Великий Холод, свидетельствуют историки, превосходил суровостью все холода, когда-либо выпадавшие на долю этих островов. Птицы гибли на лету и камнем падали на землю. В Норвиче одна молодая крестьянка, пустившись через дорогу во всегдашнем своем крепком здравии, при всем честном народе была застигнута на углу ледяным вихрем, обращена в пыль и в таком виде взметена над крышами. Смертность среди овец и крупного рогатого скота достигала небывалых показателей. Трупы промерзали так, что их не удавалось отодрать от почвы. Нередко приходилось видеть на дорогах недвижные стада замороженных свиней. В полях то и дело попадались пастухи, крестьяне, табуны коней,

мальчики, пугавшие птиц, загубленные морозом в мгновение ока: кто ковыряя в носу, кто прикладываясь к бутылке, кто целясь камнем в ворону, которая, в свою очередь, чучелом торчала на ограде в метре от него. Мороз так свирепствовал, что его следствием порой являлось некое окаменение: полагали, что множеством новых скал в известных своих частях Дербишир обязан вовсе не извержению вулкана, ибо такового не наблюдалось, но отвердению несчастных путников, в буквальном смысле слова застывших в пути. Церковь ничего не могла поделать, и хотя кое-кто из землевладельцев чтит эти останки, большинство предпочитало их использовать как межевые вехи, указательные столбы или, когда форма камня позволяла, корыта для скота, каковым целям они, по большей части превосходно, служат и поныне.

Но пока сельский люд страдал от лютых бедствий и жизнь в глуши застопорилась, Лондон предавался пышным празднествам. Двор находился в Гринвиче, и новый король, придравшись к коронации, решил наладить отношения с народом. Он повелел, чтобы реку, промерзшую на двадцать футов в глубину и в обе стороны на шесть-семь миль, расчистили, изукрасили и превратили в увеселительный парк с беседками, лабиринтами, аллеями, питейными киосками и прочая, и прочая – все на его счет. Для себя и придворных он выговорил известное пространство прямо против дворцовых ворот, каковое, отгороженное от публики всего лишь шелковой лентой, тотчас сделалось средоточием самого блистательного общества Англии. Важные государственные мужи в жабо и бородах вершили судьбы отечества под малиновым навесом королевской пагоды. Военачальники замыслили падение мавра и разгром турчанина в полосатых шатрах, венчаных страусовыми перьями. Адмиралы важно ступали по узким тропкам, с бокалом в руках, озирая горизонт и рассуждая о северо-западном походе и Испанской Армаде. Возлюбленные пары амурились на соболями устланных диванах. Мерзлые розы градом сыпались на королеву, гулявшую в сопровождении придворных дам. Разноцветные шары недвижно парили в воздухе. Там и сям пылали в огромных праздничных кострах дубовые и кедровые поленья, густо посыпанные солью, так что пламя казалось зеленым, рыжим, лиловым языком. Но как ни жарко горело, оно не могло растопить лед, который при небывалой своей прозрачности мог твердостью поспорить со сталью. Так прозрачен был лед, что на глубине нескольких футов можно было разглядеть где застывшего дельфина, где форель. Невдвигно лежали косяки угрей, и вопрос о том, состояние ли это смерти или всего лишь забытья, из которого могло бы вывести тепло, терзал мыслителей. Близ Лондонского моста, там, где река промерзла саженью на двадцать, на дне была отчетливо видна баржа, затонувшая осенью под неподъемным грузом яблок. Старуха маркитантка, поспешавшая с товаром на суррейскую сторону на рынок, сидела в своих платках и фижмах, с яблоками в подоле, и можно было поклясться, что она их предлагает покупателю, если бы некоторая голубоватость губ не выдавала горестную правду. Это зрелище особенно развлекало короля Якова, и он приводил сюда придворных на него полюбоваться. Словом, трудно передать, как весело и живописно тут было днем. Но по ночам праздничное настроение достигало высшей точки. Ибо мороз не отпускал; ночи стояли тихие; луна и звезды сверкали с упорством бриллиантов, и под нежные звуки гобоев и лютней двор танцевал. Орlando, надо признаться, был не силен в куранте или вольте, скорей неловок и несколько рассеян. Простые танцы родной страны, к которым был приучен с детства, он явственно предпочитал этим чужеземным выкрутасам. Он как раз сомкнул пятки, заключая очередной менуэт или кадрили, в шесть часов вечера седьмого января, когда скользящая из шатра московитов фигурка не то мальчика, не то девушки, ибо свободный камзол и шальвары (по русской моде) скрывали пол, привлекла его сугубое внимание. Эту, какого бы ни была она пола, особу, небольшого роста и редкой стройности, всю облекали устричного цвета бархаты, отороченные невиданным зеленоватым мехом. Но подробности затмевались ослепительной соблазнительностью особы. В мозгу Орlando сплетались и свивались самые дерзкие и странные метафоры. Он назвал ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом, лисицей на снегу – и все за три секунды; он сам не знал, видел он ее, слышал, пробовал на вкус или все это сразу. (Ибо, хотя мы обязаны ни на мгновение не прерываться в

своем повествовании, нам придется, однако, походя пояснить, что все образы его в то время были чрезвычайно просты, под стать его же чувствам, и по большей части внушены простыми навыками детства. Но, будучи просты, чувства его были и на редкость сильны. И соответственно, о том, чтоб прерываться и анализировать причины этого явления, не может быть и речи...) Дыня, изумруд, лисица на снегу – так бредил он, так ее называл. И когда мальчик, ибо это, увы! был, конечно, мальчик – может ли женщина так бешено, так стремительно носиться на коньках? – чуть не на цыпочках промчался мимо, Орландо готов был рвать на себе волосы с досады, что особа оказалась одного с ним пола и про объятия нечего и думать. Но вот конькобежец снова приблизился. Ноги, руки, осанка были мальчишеские, но мог ли быть у мальчика этот рот, могла ли быть у мальчика эта грудь, могли ли быть у мальчика эти глаза, словно выуженные со дна морского? Наконец, присев в обворожительном, дивном реверансе перед королем, который, опираясь на придворного, шаркал мимо, она остановилась. Она была совсем рядом. Она была женщина. Орландо смотрел, дрожал, его бросало в жар, трясло в ознобе; его мучительно тянуло бежать сквозь летний зной, давить пятками желуди, обнять дубы и буки. На поверку же он задрал верхнюю губу над белыми мелкими зубами – ощерился, как для укуса; щелкнул челюстью, будто уже укусил. Леди Ефросиния повисла у него на локте.

Имя незнакомки, он выяснил, было Маруся Станиловска Дагмар Наташа Лиана из рода Романовых, и она сопровождала не то отца своего, не то дядю, посла московитов, прибывшего на коронацию. О московитах известно было немного. В своих огромных бородах, под меховыми шапками, они почти всегда молчали; пили какое-то темное пойло, то и дело его сплевывая на лед. По-английски они ни слова не понимали, правда, кое-кто из них мог изъясняться по-французски, но тогда он был почти не принят при английском дворе.

По этому случаю Орландо и познакомился с княжной. Они сидели друг против друга за накрытым под огромным навесом большим столом для избранных. Княжну усадили между двумя молодыми лордами. Один был Фрэнсис Вир, другой – юный граф Морэй. Потешно было наблюдать, как она то и дело ставила их в тупик, ибо, хоть оба были по-своему недурные малые, французским они владели ничуть не лучше нерожденного младенца. Когда в самом начале ужина княжна, оборотившись к соседу, с изяществом, пленявшим его сердце, говорила: «Je crois avoir fait la connaissance d'un gentilhomme qui vous ?tait apparent? en Pologne l'?t? dernier» ³ или: «La beaut? des dames de la cour d'Angleterre me met dans le ravissement. On ne peut voir une dame plus gracieuse que votre reine, ni une coiffure plus belle que la sienne» ⁴, оба, лорд Фрэнсис и граф, выказывали величайшее недоумение. Один настойчиво потчевал ее хреном, другой свистнул своего пса и заставил его выпрашивать мозговую косточку. Тут уж княжна не выдержала и расхохоталась, и Орландо, через кабаньи головы и чучела павлинов поймавший ее взгляд, расхохотался тоже. Он на нее смотрел, он хохотал, но вдруг смех замер на его губах. Кого он любил, спрашивал он себя, захваченный вихрем чувств, что он любил доньне? Старуху, он отвечал себе, – кожу да кости. Румяных потаскух без числа. Нудную монашку. Грубую, зубастую авантюристку. Сонный тюк кружев и жеманства. Прошедшая любовь была – угасший пепел, тлен, не более того. Радости ее – до жути пресны. Странно, как еще ему удавалось, извлекая их, удерживать зевоту. Да, пока он смотрел, кровь в нем плавилась, лед таял и тек вином по жилам; он слышал звон ручьев, пение птиц, ключ бил сквозь зимние снега; мужество его очнулось – он сжимал в руке кинжал, звал на бой врага свирепей мавра и поляка; он нырял в пучину; опасность затаилась в расщелине, как роковой цветок; он увидел этот цветок, протянул руку... словом, он одним духом источал один из самых пламенных своих сонетов, когда княжна адресовалась к нему:

– Не будете ли вы добры передать мне соль?

Он залился краской.

– С превеликим удовольствием, сударыня, – отвечал он на безукоризненном

французском. Ибо, благодарение Небесам, он владел этим языком как родным. Материна горничная его обучила. Хотя, быть может, лучше бы ему не знать этого языка вовсе, не отвечать на этот голос, не покоряться свету этих глаз...

Княжна продолжала. Кто эти болваны рядом с нею, спрашивала она, с повадками конюхов? Что за тошнотворную пакость они суют ей на тарелку? И неужто английские собаки едят с людьми за одним столом? И неужто это чучело в конце стола, со включенной, как Майский шест ⁵, прической (*une grande perche mal fagot?e* ⁶), – в самом деле королева? И неужто же всегда король так пускает слюни? И который же из тех хлыщей Джордж Вильерс ⁷? Вопросы эти сперва огорошили Орландо, но задавались они с такой резвой хитрецей, что он не мог удержаться от смеха; и, по безмятежным лицам сотрапезников заключив, что те не понимают ни слова, он отвечал ей с той же откровенностью и на столь же безукоризненном французском.

Так было положено начало задумчивым отношениям, вскоре вызвавшим возмущение двора.

Все заметили, что Орландо оказывает москвитянке куда больше внимания, чем велит простая учтивость. Их постоянно видели вместе, и, хоть беседа их была недоступна остальным, велась она так живо, то и дело перемежалась такими улыбками и потуплением взоров, что и круглый дурак сразу бы догадался, что к чему. Более того – самого Орландо будто подменили. Никогда еще не наблюдалось за ним такой прыти. Куда девалась мальчишеская неловкость; из хмурого недоросля, чувствовавшего себя в гостиных как слон в посудной лавке, он превратился в благородного мужа со зрелым достоинством манер. Вел ли он москвитянку (так ее называли) к саням, хватал ли оброненный ею грязный носовой платок, оказывал ли одну из прочих услуг, которых владычица души ждет и жадно предугадывает влюбленный, – то было зрелище, способное зажечь тусклый взор старика и заставить учащенно биться молодое сердце. И все это, однако, мрачила туча. Старики пожимали плечами. Юнцы исподтишка хихикали. Все знали, что Орландо помолвлен с другой. Леди Маргарет О'Брайен О'Дэр О'Рэйлли Тайрконнел (ибо таково было подлинное имя Ефросиний его сонетов) носила на среднем пальце левой руки роскошный сапфир, подаренный Орландо. Это она имела исключительное право на его внимание. И тем не менее она могла переронять на лед все свои платки до единого (а их у нее было много дюжин), – Орландо и не думал за ними наклоняться. Она по двадцать минут ждала, пока Орландо отведет ее к саням, и в конце концов смирялась с услугами своего арапа. Когда она бегала на коньках – а бегала она весьма неловко, – никого не было рядом, чтобы ее ободрить, и, когда она плюхалась на лед, а плюхалась она довольно тяжело, – никто не помогал ей встать, никто не отряхивал снег с ее юбок. И, флегматичная от природы, неспособная обижаться и меньше всех готовая поверить, что какая-то иностранка может увести у нее из-под носа Орландо, все же и сама леди Маргарет в конце концов вынуждена была заподозрить, что ее покою кое-что грозит.

И то сказать, дни шли, а Орландо давал себе все менее труда скрывать свои чувства. Под тем или иным предлогом он покидал общество сразу после ужина или спешил улизнуть от конькобежцев, когда те затевали фигуры для кадрили. И тотчас замечалось и отсутствие москвитянки. Но более всего бесило придворных, жалило их в самое чувствительное место (каковым у них является тщеславие) то, что парочка на глазах у них частенько ускользала за шелковую ленту, отгораживавшую королевскую площадку от остальной реки, и терялась в толпе простонародья. Потому что княжна вдруг топала ножкой и кричала: «Уведи меня отсюда! Ненавижу твою английскую чернь!» – каковым словом она обозначала как раз английской двор. Она уже не в состоянии это выносить, говорила она. Старухи богомолки плятятся на твое лицо, наглые юнцы не дают проходу. От них воняет. Собаки путаются под

ногами. Чувствуешь себя как в клетке. В России – там реки шириною в десять миль, скачи себе в карете цугом и за целый Божий день ни души не встретишь. К тому же ей хотелось посмотреть Тауэр, и лейб-гвардейцев стражников, и головы на Лондонских воротах, и лавки ювелиров. И Орландо отправлялся с нею в город, показывал лейб-гвардейцев стражников, головы мятежников, скупал все, на что в лавках падал ее взгляд. Но этого было недостаточно. Обоим все пламенной хотелось побыть наедине, подальше от пересудов и сплетен. И вместо Лондона они сворачивали в другую сторону и скоро оказывались в промерзлых верховьях Темзы, где, кроме морских птиц да какой-нибудь деревенской бабы, колющей лед в напрасной надежде нацедить ведро воды или тщившейся набрать сухих щепок для растопки, им не встречалось ни души. Бедняки держались поближе к своим хижинам, а публика почище, те, кому это по карману, подавались в город в поисках тепла и удовольствий.

И таким образом, Орландо и Саша, как он прозвал ее для краткости и еще потому, что так звали белого русского песка, который был у него в детстве, – создание нежное, как снег, но с зубами тверже стали; однажды он так куснул Орландо, что отец приказал его убить, – и таким образом, они владели Темзой нераздельно. Разгоряченные коньками и страстью, они валились в снега пустынного плеса, отороченные желтыми прибрежными ветлами, и Орландо заключал ее в объятия под огромной шубой, и впервые, впервые в жизни, он лепетал, наслаждался счастьем любви. Потом, утолив восторг, оба истомно лежали на снегу и Орландо ей рассказывал о других своих возлюбленных: деревяшки, тлен, одно недоразумение – вот что они были такое в сравнении с нею. И, посмеиваясь над его горячностью, она снова заключала его в объятия и снова целовала. И они дивились, как это лед не плавится от их накала, и жалели бедную старушку, которой, не имея естественных ресурсов для его растопки, приходилось орудовать старым косарём. А потом, окутавшись своими соболями, они болтали про все на свете: про странствия и виды; про мавров и поганых; про чью-то бороду и чьи-то брови; про то, как она с руки кормила крысу под столом; про гобелены – непременную принадлежность их прихожих; про то лицо; про то перо. Ничто не было ни слишком мелким для их бесед, ни чересчур великим.

Но вдруг на Орландо находил один из приступов его тоски – из-за старухи, жалко топтавшейся на льду, а то и вовсе без причин, – и он ничком ложился на лед, смотрел на промерзшую воду и думал о смерти. Ибо прав тот мудрец, который уверяет, что счастье всего на волосок отделено от тоски; и рассуждает далее, что это – близнецы, и извлекает отсюда умозаключение, что всякая крайность в чувствах отдаёт безумием; рекомендует нам искать спасения в лоне истинной (в его случае анабаптистской) Церкви, являющейся единственной гаванью, якорем и прибежищем и прочее, и прочее для тех, кого швыряет на волнах этого безжалостного моря.

– Все кончится смертью, – говорил Орландо, садясь, с потемнелым от тоски лицом. (Ибо дух его тогда, как на качелях, метался между жизнью и смертью, решительно без всяких остановок в промежутке, так что где уж останавливаться биографу, нет, напротив, ему надо торопиться изо всех сил, чтобы поспеть за безотчетно горячими, глупыми выходками и дикой произвольностью речей, чем, невозможно отрицать, грешил в те поры Орландо.) – Все кончится смертью, – говорил Орландо, садясь на льду. Но Саша, которая не имела в жидях ни капли английской крови и родилась в России, где закаты медлят, где не ошарашивает вас своей внезапностью рассвет и фраза часто остается незавершенной из-за сомнений говорящего в том, как бы ее лучше округлить, – Саша смотрела на него во все глаза, смеялась над ним, потому что он, наверное, казался ей ребенком, и ничего не отвечала. Меж тем лед под ними остывал, холодил, жалил Сашу, и, потянув Орландо за руку и заставив встать, она говорила так тонко, остро и умно (но все это, к сожалению, на французском, который ужасно опресняется при переводе), что Орландо, забыв о промерзших водах и нависшей ночи, о старухе и тому подобном, пытался объяснить Саше – ныряя, плескаясь, барахтаясь в образах, выдохшихся, как и вдохновившие их дамы, – на что она похожа. Снег, пена, мрамор, вишня в цвету, алебастр, золотая сеть? Нет, все не то. Она была

как лисица, как олива, как волны моря, когда на них смотришь с вышины, как изумруд, как солнце на мураве покуда отуманенного холма – но ничего этого он не видел и не знал у себя в Англии. Он прочесывал весь родной словарь – и не находил слов. Тут требовался иной пейзаж, иной строй речи. Английский был слишком очевидный, откровенный, слишком медвяный язык для Саши. Ведь во всем, что говорила она, как бы она ни разливалась соловьем, всегда что-то оставалось утаенным; за всем, что она делала, как бы безоглядны ни были ее порывы, всегда скрывалось что-то. Так упрятан зеленый пламень в изумруде, так заточено в муравчатом холме солнце. Только снаружи была ясность – в глубине блуждали огненные языки. Вот загорелись – вот загасли: никогда не сияла Саша ровными лучами, как английские женщины; но тут, однако, припомнив леди Маргарет и ее юбки, Орlando осекся, запутался, зашелся, повлек Сашу по льду быстрее, быстрее, быстрее и клялся, что он достигнет пламя, найдет оправу, найдет управу, нырнет на дно за перлом и прочее, и прочее, перемежая слова вздохами со всем пылом, свойственным поэту, когда стихи из него выдавливают боль.

А Саша все отмалчивалась. Когда, достаточно поговорив про то, что она лисица, олива, зеленый холм, Орlando ей выкладывал историю своего семейства: как их род один из древнейших в Британии; как они явились из Рима вместе с цезарями и вправе двигаться по Корсо (а это главная улица Рима) под кистями паланкина – честь, он пояснял, даруемая лишь наследникам порфиросцев (в нем была гордая наивность, довольно, впрочем, привлекательная), и, помолчав, спрашивал, а где же ее дом? кто ее отец? есть ли у нее братья? отчего она здесь одна со своим дядей? И почему-то, хотя она отвечала с готовностью, Орlando делалось не по себе. Сперва он подозревал, что она не столь высокого происхождения, как ей бы хотелось, или что она стыдится диких обычаев своей страны, ибо ему приходилось слышать, что женщины в Московии носят бороды, а мужчины вниз от пояса покрыты шерстью; что и те и другие смазываются салом для тепла, рвут мясо руками и живут в лачугах, где английский дворянин посовестится держать и скотину; и потому он решил не наседать на нее с расспросами. Однако, поразмыслив, он сообразил, что молчание объясняется какими-то другими причинами: ведь у самой Саши на подбородке не наблюдалось ни единой волосинки, облекали ее бархаты и жемчуга, и, судя по манерам, воспитывалась она отнюдь не в загоне для скота.

Но если так – что же она от него таила? Эти сомнения, составлявшие фундамент его любовного неистовства, были как зыбучие пески под монументом: вдруг оползая, они трясут все сооружение. Вдруг Орlando охватывала нестерпимая тревога. И он полыхал таким гневом, что она не знала, как его унять. Возможно, она и не хотела его унимать; возможно, эти припадки ярости ее забавляли и она нарочно их вызывала. Непостижимо уклончива московитская душа.

Продолжая, однако, нашу повесть, – однажды они умчали на коньках дальше обычного и оказались там, где, стоя на якоре, вмерзли в Темзу корабли. Был среди прочих и корабль московитского посольства, кивавший с топ-мачты двумя черными орлиными головами в просторной оторочке искрящихся сосуллек. Саша оставила на борту кое-что из платья, и, сочтя, что на судне никого нет, они взобрались на палубу и пустились на розыски. Помня некоторые происшествия из своего прошлого, Орlando бы ничуть не удивился, обнаружив, что кое-кто уже успел найти там приют, да так оно и вышло. Они только начали разведку, когда приятный молодой человек, хлопотавший над свернутым канатом, оторвался от этого занятия, сообщил, очевидно (он говорил по-русски), что он один из команды и готов помочь княжне найти то, что ей угодно, зажег свечной огарок и скрылся с нею вместе в корабельных недрах.

Время шло, и Орlando, окутанный и разогретый собственными мечтами, думал все о приятном: о своей драгоценности и ее редкости, о том, как он сделает ее своей – неотменимо и неотторжимо. Конечно, тут громоздилось множество препятствий. Саша твердо решила не покидать Россию, ее замерзших рек, буйных коней, мужчин, она рассказывала, перегрызавших друг другу глотки. Конечно, сосны и снега, повальный блуд и

бойня не ахти как его прельщали. Равно нисколько не тянуло его расстаться со здешними милыми забавами и сельскими обычаями, бросить службу, погубить карьеру; ходить на северного оленя вместо зайца, пить водку вместо мадеры и прятать нож за голенищем – Бог знает для чего. И однако, на все это – и даже на большее – он был готов ради Саше. Ну а что до венчания с леди Маргарет, хоть и назначенного на будущий четверг, – это была столь явственно нелепая затея, что он почти выбросил ее из головы. Родня невесты его осудит за то, что отверг такую даму; друзья будут потешаться, что он сгубил великолепнейшую карьеру ради какой-то казачки и унылых заснеженных равнин, – что ж, все это пустяки в сравнении с самой

Сашей. Первой же темной ночью они сбегут на север, а оттуда в Россию. Так он задумал; так он рассуждал, меря шагами палубу.

Очнулся он, поворотив на запад, при виде солнца, апельсином повисшего на кресте Святого Павла. Кроваво-красное, оно стремительно снижалось. Значит, уже вечер. Саша, пожалуй, уж больше часа как ушла. Тотчас Орlando охватили темные предчувствия, мрачившие даже самые самонадеянные его помыслы о Саше, и он бросился туда, куда, он видел, они удалились, – в сторону корабельного трюма; и – не раз наткнувшись в темноте на ящики и бочонки – наконец, по тусклому свечению в дальнем углу, он понял, что они там. На секунду он их увидел: увидел Сашу у матроса на коленях; увидел, как она наклонилась к нему, увидел их объятия, – и все исчезло, застланное багровым туманом его ярости. И он так взвыл от муки, что весь корабль зашелся эхом. Саша кинулась их разнимать, не то он удушил бы матроса прежде, чем тот успел выхватить тесак. И Орlando сделалось так скверно, что его уложили на пол и вливали в него бренди, пока он не оправился. А потом его усадили на мешки, и Саша хлопотала над ним, мелькала перед его расплывавшимся взором – и нежно, и хитро, как укусившая его лисица, то ластясь, то сердясь, так что уже он сам готов был усомниться в том, что видел. Свеча ведь оплывала – верно? И бродили тени – не правда ли? Ящик, она сказала, был чересчур тяжел, матрос ей помогал его тащить. На мгновение Орlando ей поверил, – кто поручится, что гнев не подсунил ему как раз то, что он больше всего боялся обнаружить? Но тотчас, с удвоенной яростью, он осыпал ее упреками во лжи. Тут уж Саша побелела, топнула ножкой; объявила, что нынче же уедет, и призывала Небо покарать ее, если она, княжна из рода Романовых, лежала в объятиях грубого матроса. И в самом деле, охватив взглядом их обоих (что стоило ему немалых усилий), Орlando устыдился своего грязного воображения, которое могло нарисовать столь нежное создание в лапшах волосатого морского чудища. Он был громадный, чуть не двухметровый, с вульгарнейшими кольцами в ушах, – как ломовик, на которого присела отдохнуть в полете ласточка или малиновка. И Орlando смирился, поверил и просил прощения. И все же когда, совершенно примирившись, они выходили из трюма, Саша приостановилась, держась за поручни, и выпустила в темнолицее широкоскулое чудище залп русских приветствий, острот, а то и любезностей? Орlando не понимал ни слова. Но что-то в тоне ее голоса (не по вине ли русских звуков?) вызвало у Орlando в памяти ту недавнюю ночь, когда он застиг Сашу врасплох в темном уголку: она лакомилась подобранной с пола свечкой. Оно, конечно, свечка была розовая, золоченая, и с королевского стола; но все равно – сальная свечка, и Саша ее глодала. А ведь, пожалуй, думал он, помогая ей сойти на лед, пожалуй, есть в ней что-то грубое, что-то дикое, простонародное что-то? И он ее вообразил сорокалетней, тяжелой, расплывшейся, хоть сейчас она была стройнее тростника, и сонной, вялой, хоть сейчас она была резвее птахи. Но когда они бежали обратно к Лондону, эти мрачные подозрения растаяли в его груди, и он снова чувствовал себя как с наслаждением барахтающаяся на крючке рыба.

Вечер поражал красотой. Солнце садилось, и все купола, башни и шпили Лондона ярко чернели на червлени закатных облаков. Резной крест Чаринга; купол Святого Павла; громады Тауэра; вот занялись окна Аббатства и горели многоцветными небесными щитами (фантазия Орlando); вот запад уже слился в одно золотое окно, и ангелы (опять – фантазия Орlando) сбегали и взбегали по небесным ступенькам.

И все время, все время коньки скользили как по бездонной пучине неба, так ярко синел лед; и так стеклянно-гладок он был, что они разгонялись быстрее, быстрее, и белые чайки расчерчивали воздух крыльями, как в зеркале отражая росчерки коньков.

Саша – не старалась ли она его задобрить? – была нежней всегдашнего и даже еще пленительней. Обычно она не любила говорить о своей прежней жизни, а тут рассказала, как зимой в России слышала дальний волчий вой и, трижды тявкнув по-волчьи, продемонстрировала, как это звучит. В ответ он рассказал ей про оленей в заснеженном парке, как они забредают в гулкие залы погреться и один старик их кормит кашей из ведра. И она его расхваливала – за любовь к животным, за отвагу, за его ноги. В восторге от ее похвал, пристыженный тем, что мог вообразить ее на коленях у простого матроса, а потом и раздобревшей, вялой и сорокалетней, он сказал, что не находит слов, чтоб достойно ее расхвалить; однако тотчас сообразил, что она похожа на ручей, на мураву, на волны, и, сжав ее в объятиях еще нежней, чем всегда, полетел с нею по льду, обгоняя удивленных чаек и бакланов. И она наконец задохнулась, остановилась и сказала ему, что он как рождественская елка, разубранная миллионом свечек (так принято у них в России), увешанная желтыми шарами, – вся в пламени, света на целую улицу хватит (так приблизительно можно бы это перевести); ибо со своими пылающими щеками, темными кудрями и черно-красным камзолом он словно сияет собственным пламенем, словно у него засветили лампу внутри.

Все краски, кроме полыхания Орландовых щек, скоро выцвели. Настала ночь. Оранжевость заката погасла, уступив место странно белесому свечению факелов, костров и прочих приспособлений, и разом все удивительно переменилось. Храмы, дворцы вельмож, отделанные белым камнем по фасаду, плыли по воздуху, высвечиваясь полосами и пятнами. От Святого Павла, в частности, уцелел один золоченый крест. Вестминстерское аббатство зыбко серело скелетом листа. Все истончилось, оскудело, все преобразилось. Звуки стали плотнее, гуще. Приближаясь к месту гуляний, Орlando и Саша слышали звук – протяжный, чистый, как от удара по камертону; он разрастался, крепчал, пока не разразился гремучим раскатом. То и дело взвивались ракеты, и восторженный рев их приветствовал. Вот стали заметны маленькие фигурки, отрывавшиеся от толпы и кружившие по льду, как мошки. И над этим сверкающим озерцом черной чашей мрака опрокинулась зимняя ночь. И в черноте этой, с нагнетавшими нетерпение паузами, расцветали ракеты: полумесяцы, змейки, короны. На миг дальние холмы и леса оживали, как в летний зной; и снова на них падали ночь и зима.

Орlando и Саша, уж совсем близко к королевской площадке, прокладывали путь в густой толпе простонародья, теснившейся поближе к шелковой ленте. Не спеша расстаться с уединением и попасть под неусыпное соглядатайское око, парочка медлила среди подмастерьев, портняжек, рыбаков, конских барышников, проходимцев, голодных грамотеев, горничных в косынках, торговков апельсинами, конюхов, трезвых граждан, бесстыжих кабатчиков, маленьких оборвышей, всегда примазывающихся к любой толпе, орущих, мешающихся под ногами, – словом, весь лондонский уличный сброд теснился тут, толкался, пихался, кидал кости, громко предсказывал судьбу, щипался, щекотался; тараторил, горланил – там хмуро, там буйно, – одни изумленно разинув рот, другие с каменным безразличием галок на заборе; разнообразие оснастки отражало состояние кармана: одни были в мехах, парче, другие в рубище, и ноги защищены от жалящего льда лишь рваными обмотками. Основная масса толпилась, пожалуй, перед подмостками, на каких у нас показывают Панча и Джуди, и глазела на представление. Черный мужчина махал руками и орал. Женщина в белом лежала на постели. Актеры метались вверх-вниз по ступенькам, то и дело спотыкались, и публика топала, свистела, а то от скуки запускала в них апельсиновой кожурой, за которой тотчас кидался беспризорный пес, – но при всей неуклюжести, при всей невозможности зрелища странная путаная мелодия слов завораживала Орlando, как музыка. Выговариваемые дерзко-спешащим говорком, напоминавшим о песнях матросов в пивной на Уоппинг-оулд-стеэрс, слова эти и помимо смысла пьянили его, как вино. Но когда, долетев через лед, отдельная фраза ударяла по

сердцу, ярость мавра оказывалась его яростью, а когда мавр удушал женщину в постели – это сам Орландо убивал Сашу собственной рукой.

Но вот представление кончилось. Все потемнело. По щекам Орландо лились слезы. Он взглянул на небо – там тоже была черная тьма. Все окутывает смерть и мрак, думал Орландо. Жизнь человеческая кончается гробом. Черви нас сожрут.

Как будто в мире страшное затмение,
Луны и солнца нет, земля во тьме,
И все колеблется от потрясения ⁸.

И едва он произнес эти слова, бледно-утренняя звезда взошла в его памяти. Ночь была темная, хоть глаз выколи; но не такой ли ночи они и дожидались? Не такой ли ночью задумали бежать? Он вспомнил все. Час пробил. Он порывисто прижал к груди Сашу, шепнул ей на ухо: «*Jour de ma vie!*» ⁹Это был пароль. В полночь они сойдутся у гостиницы близ Черных Братьев. Кони будут ждать. Все готово для побега. И они разошлись в разные стороны – он к своему, она к своему шатру. Оставался еще час времени.

Задолго до полуночи Орландо был уже на условном месте. Так черна была ночь, что никого не увидишь на расстоянии шага; оно бы и к лучшему, но такая царила торжественная тишина, что за полмили слышно цоканье ли копыт, крик ли ребенка. То и дело у Орландо, вышагивавшего взад-вперед по тесному дворику, сердце обрывалось от стука подков по булыжнику, от шелеста женских юбок. Но всякий раз оказывалось, что это всего лишь направляется к себе домой припозднившийся купец либо женщина вышла на улицу в далеко не столь невинных целях. Пройдут – и еще плотней смыкалась за ними тишина. Вот огни, дрожавшие в нижних этажах тесных жилищ, набитых городской беднотой, пересыпались выше, в спальни, и там один за другим потухли. Фонари в здешних краях были редки, да и те, по нерадению ночного сторожа, часто гасли, не дождавшись рассвета. И еще плотнее смыкалась тьма. Орландо прикрутил фитиль в своем фонаре, проверил упряжь, посмотрел пистолеты, поправил кобуру; и все это проделал он раз десять и вот уж больше ничего не мог припомнить такого, что требовало бы его попечения. Хотя до полуночи оставалось еще минут двадцать, он никак не мог себя заставить войти в гостиницу, где хозяйка, верно, еще оделяла скверным вином нескольких матросов, распевавших свои песенки и рассказывавших свои истории про Дрейка ¹⁰, Хоккинса ¹¹ и Гренвила ¹², пока, свалившись под скамью, не захрапят на земляном полу. Тьма была куда милей его безумно колотившемуся сердцу. Он вслушивался в каждый звук, ловил ухом каждый шорох. Каждый пьяный выкрик, каждый стон роженицы ли, другого ли какого бедолаги надрывал ему душу, словно предвещая недоброе. Нет, он не боится за Сашу. Храбрость ее не знает границ. Она придет одна, в камзоле и штанах, обутая по-мужски. Шаг ее легок, неуловим, не слышен даже и в этой тишине.

Так ждал он во тьме. Вдруг его ударили по лицу – тихая, но тяжелая пощечина. Он до того истомился ожиданием, что весь задрожал и тотчас схватился за шпагу. Удары повторились – еще, еще, – его били по щекам, били по лбу. Привыкнув уже к сухому морозу, Орландо не сразу сообразил, что это дождь: его ударяли дождевые капли. Сперва они падали медленно, как бы нехотя, с ленцой. Но скоро заколотили чаще, чаще. Уже их было не шесть, а шестьдесят, шестьсот; и вот, слившись, они обрушились каскадом. Все небо будто накренилось, изошло потоком. За пять минут Орландо промок до нитки.

Поспешно отведя лошадей под укрытие, сам он затаился под навесом крыльца и оттуда

8

9

10

11

12

оглядывал двор. За грохотом и гулом ливня нельзя было различить ничьих шагов. Дороги, изрытые колдобинами конечно, сделались непроходимы. Но Орландо почти не думал о том, как это должно сказаться на замысле побега. Все чувства его, все мысли сосредоточились на мерцающей в свете фонаря мощеной тропке, – там надеялся он увидеть Сашу. Иногда она ему мерещилась во тьме, в дождевых прядях. Но тотчас призрак исчезал. Вдруг ужасным, зловещим тоном, от которого у Орландо перевернулось сердце, часы Святого Павла возгласили первый удар полуночи. И безжалостно пробили еще четыре раза. С суеверием влюбленного Орландо загадал, что она придет при шестом ударе. Но вот раскатилось эхо шестого, отзвенел седьмой, восьмой, и для его израненного слуха они звучали смертным приговором. При двенадцатом ударе он понял, что надежды нет никакой. Тщетно прибегал он к утешительным доводам рассудка: может быть, она опоздала; может быть, ее задержали; может быть, она заблудилась. Вещая душа Орландо чуяла правду. Пробили, прозвенели часы на других башнях. Весь мир словно сговорился греметь о ее предательстве, его посрамлении. Давние мучительные догадки, смутно подтачивавшие Орландо, прорвали плотины запрета. Его жалили несчетные змеи, одна ядовитей другой. Дождь лил как из ведра. Он стоял под навесом крыльца, не в силах сдвинуться с места. Проходили минуты. У Орландо подгибались ноги. А ливень бушевал. Будто грохотали тысячи пушек. Будто с треском валились могучие дубы. Раздавались какие-то дикие вопли, жуткие, нечеловеческие стоны. Но Орландо все стоял и стоял, пока часы Святого Павла не пробили два часа, и тогда только, крикнув с убийственной иронией: «*Jour de ma vie!*» – он швырнул фонарь оземь, вскочил на коня и поскакал, сам не зная куда.

Верно, слепой инстинкт (ибо разум его молчал) вел его вдоль речного берега по направлению к морю. Потому что, когда занялся рассвет с особенной какой-то внезапностью, небо бледно зажелтело и почти перестал дождь, Орландо оказался совсем близко к устью Темзы. И вид весьма странного, удивительного свойства предстал глазам его. Там, где три месяца, а то и больше, лед, столь плотный, что казался вековечней камня, держал на себе целый город увеселений, теперь ярились желтые волны. Река высвободилась за эту ночь. Будто серные источники (и к такой точке зрения склонялось большинство мыслителей), забив из вулканических глубин, взорвали лед и с мощной силой разметали множество осколков в разные стороны. От одного взгляда на воду могло помутиться в голове. Все смешалось, все клубилось. Всю реку усеяли айсберги. Одни были просторны, как кегельбаны, и высотой с дом; другие – не больше мужской шляпы, зато – как причудливо изогнуты! То вдруг целый караван льдин сметал и топил все на своем пути. То, извиваясь, как змея под палкой мучителя, река шипела меж обломков, швыряла их от берега к берегу, и они громко разбивались о пирсы. Но больше всего ужасал вид человеческих существ, загнанных в ловушку, расставленную этой страшной ночью, и теперь в отчаянии меривших шагами зыбкие свои островки. Прыгнут ли они в поток, останутся ли они на льду – участь их была решена. Иногда они гибли целыми группами, кто – стоя на коленях, кто – кормя грудью младенца. Вот старик, видимо, читал вслух молитвы. Вот какой-то бедолага один метался по своему тесному прибежищу, и его судьба была, быть может, всего страшней. Уносимые в открытое море, иные тщетно зывали о помощи, неистово клялись исправиться, каялись в грехах, обещали поставить Богу алтари и осыпать Его золотом, если Он услышит их молитвы. Другие были так поражены ужасом, что сидели молча, недвижно, глядя прямо перед собой. Несколько молодых лодочников, а может быть рассыльных, судя по ливреям, орали непристойные кабацкие песни и приняли смерть с кощунством на устах. Старый вельможа – о чем свидетельствовали его меха и золотая цепь – тонул недалеко от Орландо, призывая отмщение на головы ирландских мятежников, которые, выкрикнул он при последнем издыхании, затеяли весь этот кошмар. Многие гибли, прижимая к груди серебряные горшки и прочие сокровища; а по меньшей мере двадцать несчастных стали жертвами собственной алчности, бросившись с берега в воду, только бы не упустить золотой бокал или не дать исчезнуть с глаз долой какой-нибудь собольей шубе. Ибо мебели, ценности, имущество всякого рода так и уносило на айсбергах. Среди прочих

достопримечательностей следует отметить кошку, кормящую котят; стол, пышно накрытый к ужину на двадцать персон; парочку в постели; а также удивительное количество кухонной утвари.

Смущенный, ошеломленный, Орlando некоторое время только стоял и беспомощно оглядывал чудовищные, катящие мимо волны. Потом, как бы опомнившись, он прищипорил коня и поскакал вдоль берега по направлению к морю. Одолев излучину, он оказался там, где всего два дня назад, так незыблемо вмерзнув в лед, стояли посольские корабли. Он их поскорей сосчитал: французский, испанский, австрийский, турецкий. Все держались на плаву, хотя французский корабль сорвало с якоря, а в турецком была большая пробоина и он стремительно наполнялся водой. Только русского судна нигде не было видно. На мгновение у Орlando мелькнула мысль, что оно пошло ко дну; но, приподнявшись в стремени, защитив ладонью глаза, зоркие, как у ястреба, он различил его на горизонте. Черные орлиные головы плескались на топ-мачте. Корабль московитского посольства выходил в открытое море.

Соскочив с коня, он готов был в неистовстве пуститься волнам наперерез. Стоя по колено в воде, он швырял вслед неверной все обвинения, обычно выпадающие на долю ее пола. Предательница, изменщица, ветреница – так он ее честил, – прелюбодейка, чертовка, лгунья; а клубящиеся волны поглощали его слова и выбрасывали к его ногам то разбитый горшок, то соломку.

ГЛАВА 2

Тут биограф сталкивается с трудностью, которую лучше, пожалуй, сразу доверить читателю, нежели стараться замазать. До сих пор документы исторического и частного свойства давали биографу возможность исполнять свой первейший долг, а именно, не оглядываясь ни направо, ни налево, твердо ступать по неизгладимым следам истины; не прельщаясь цветочками, не отвлекаясь теньями, твердо идти вперед и вперед, пока мы не свалимся в могилу и не начертаяем «конец» на нашей надгробной плите. Но сейчас мы подошли к эпизоду, который лежит у нас поперек дороги, так что не заметить его мы не можем. А эпизод этот темный, таинственный и решительно недокументированный, так что непонятно, как его объяснить. Писать о нем можно целые тома; целые религиозные системы можно на нем основать. И посему наш долг – сообщить факты, насколько они нам известны, а читатель уже пусть сам из них извлечет, что сумеет.

Летом после той бедственной зимы, которая видела холод, потоп, гибель многих тысяч и крушение всех Орландовых надежд, он был отдален от двора, впал в жестокую немилость у многих всесильных вельмож своего времени; ирландский род Дезмондов справедливо от него отшатнулся; король довольно натерпелся от ирландцев, чтобы радоваться еще и этому сюрпризу, – тем летом Орlando жил в просторном сельском замке, в совершенном уединении. И однажды июньским утром – была суббота, восемнадцатое число – он не встал ото сна в обычный час, а когда камердинер зашел к нему в спальню, оказалось, что он крепко спит. И его не могли добудиться. Он лежал в забытии, едва заметно дышал; и хотя под окном посадили собак, чтобы те подняли лай, возле его постели непрестанно гремели барабаны, цимбалы и кастаньеты, под подушку ему совали можжевельный куст, к ногам прилепляли горчичные пластыри – он не просыпался, не принимал пищи, не выказывал ни малейших признаков жизни битых семь дней. На восьмой же день он проснулся в обычный свой час (без четверти восемь, минута в минуту) и выгнал из спальни всем скопом истошных женщин и деревенских зевак, что вполне естественно; странно, однако, то, что он ничего не помнил о своем состоянии, но оделся и велел подать ему коня, будто встал поутру как ни в чем не бывало, хорошенько выспавшись со вчерашнего вечера. И однако, судя по всему, кое-какие перемены имели место в покоях его мозга, ибо, хоть он был вполне разумен и даже, пожалуй, спокойней и сдержаннее, чем прежде, он, кажется, не очень отчетливо помнил свою предшествующую жизнь. Он слушал, как люди рассказывали о Великом Холоде, о

катаниях и гуляньях, но никогда ничем – разве что проведет рукой по лбу, как бы стирая темное облако – не выдавал, что сам он был их свидетелем. Когда обсуждались события последних шести месяцев, он казался не то что расстроенным, а скорей растерянным, будто его тревожили давние смутные воспоминания или он силился восстановить историю, рассказанную кем-то другим. Заметили, что, когда речь заходила о России, о княжнах или кораблях, он неприятно мрачнел, вставал и смотрел в окно или подзывал к себе пса, а то вытаскивал ножик и принимался выстригивать кедровую тросточку. Но доктора в ту пору были едва ли умнее теперешних и, попрописывая ему покой и движение, голод и усиленное питание, общение и уединение, постельный режим и сорок миль верхом между обедом и ужином плюс обычные успокаивающие и возбуждающие средства, иногда по наитию присовокупив ко всему этому горячую простоквашу со слюной тритона по утрам и настойку из павлиньей желчи перед сном, наконец предоставили его самому себе, вынеся вердикт, что он спал в течение недели.

Но если это был сон, то – трудно удержаться от вопроса – какова природа подобных снов? Быть может, это оздоровительное средство – состояние забытья, когда самые мучительные воспоминания, способные навеки искалечить жизнь, сметаются темным крылом, которое их очищает от грубости и наделяет, даже самые низкие, самые уродливые из них, свечением и блеском? Не накладывает ли смерть свой перст на жизненную смуту для того, чтобы та сделалась для нас переносима? Быть может, мы так устроены, что смерть нам прописана в ежедневных мелких дозах, чтобы одолевать трудное дело жизни? И какой-то чуждой, неведомой властью преобразуется драгоценнейшее в нас помимо нашей воли? Быть может, Орландо, не снеся своих страданий, на неделю умер, а потом воскрес? Да, но что такое тогда смерть? И что такое жизнь? Добрых полчаса прождав ответов на эти вопросы и не дождавшись их, продолжим, однако, нашу повесть.

Итак, Орландо теперь вел самую уединенную жизнь. Быть может, опала при дворе и непереносимое горе были тому причиной, но, поскольку он ничуть не стремился оправдаться и редко приглашал к себе гостей (хотя толпы приятелей по первому бы зову к нему пожаловали), очевидно, жизнь в доме отцов вдали от света не очень уж ему претила. Он сам предпочел одиночество. Никто толком не знал, как проводит он свои дни. Слуги, которых он всех оставил при себе, хотя обязанности их сводились в общем к тому, чтобы подметать необитаемые покои и застилать пустующие постели, сидя по вечерам за пирогами с элем и наблюдая за свечой, плывущей по галереям, через залы, по лестницам, в опочивальни, заключали, что хозяин замка совершает одинокий его обход. Никто не решался следовать за ним, потому что замок посещался всевозможного рода призраками и к тому же из-за размеров его вы легко могли заблудиться и либо свалиться с какой-нибудь лестницы, либо открыть ненароком потайную дверцу, и она, хлопнув на ветру, могла вас заточить навеки, – что и случалось весьма нередко, о чем красноречиво свидетельствовали часто обнаруживаемые скелеты людей и животных в позах живейшей муки. Затем свеча терялась совершенно, и миссис Гримздитч, ключница, объясняла мистеру Дапперу, капеллану, как горячо она надеется, что с его светлостью ничего плохого не случилось. Мистер Даппер высказывался в том смысле, что его светлость сейчас, верно, преклоняет колена среди отеческих гробов в капелле, которая располагалась на бильярдном корте в полумиле далее к югу. Ибо, опасался мистер Даппер, на совести его светлости есть кое-какие грехи, на что миссис Гримздитч возражала не без горячности, что у большинства из нас они водятся; и миссис Стьюкли, и миссис Филд, и старая няня Капентер хором вступались за его светлость; а камердинеры и грумы божились, что это ведь жалость одна, когда такой благородный господин слоняется по дому, и нет чтоб пойти на лису или же гнать оленя; и даже прачки и судомойки, все Джуди и Розы, передавая по кругу пирог, свидетельствовали о том, как его светлость обходителен, как щедро оделяет серебром на брошки и ленты, и даже арапка, которую назвали Грейс Робинсон, когда превращали в христианскую женщину, и та все понимала и соглашалась – единственным доступным ей способом, то есть выказывая все свои зубы в широченной улыбке, – что его светлость самый красивый, добрый и

великодушный господин. Одним словом, вся челядь, все мужчины и женщины глубоко его чтили и ругали княжну-чужестранку (правда, они ее называли немного грубей), которая его довела до такого.

И хотя, возможно, это трусость или любовь к горячему элю побуждала мистера Даппера воображать, что его светлость безопасно пребывает среди гробов и незачем спешить на его розыски, вполне вероятно, что мистер Даппер был прав. Орландо пристрастился теперь к мыслям о смерти и гниении и, пройдя долгими галереями и бальными залами со свечой в руке, оглядев один за другим портреты, как бы силясь найти среди них дорогие утраченные черты, входил в часовню и долго сидел на господской скамье, наблюдая игры лунного света и переливы знамен в обществе исключительно какой-нибудь летучей мыши или мотылька-бражника. Но ему и этого казалось мало, он спускался в склеп, где, гроб на гробе, лежали десять поколений его предков. Место было столь редко посещаемо, что крысы свободно занимались добыванием свинца, и то берцовая кость цеплялась за полу его плаща, то хрустел под ногою череп какого-нибудь старого сэра Майлза. Склеп был мрачный, вырыт глубоко под фундаментом замка, словно первый владелец, явившийся из Франции вместе с Завоевателем, задался целью доказать, что вся слава мира зиждется на порче и прахе; что под плотью спрятан скелет; что мы, напевшись и наплясавшись наверху, ляжем внизу; что обратится в пыль порфирный бархат; что кольцо (тут Орландо, опустив свой светильник, подобрал закатившийся в угол золотой перстень, лишившийся камня) теряет свой рубин и глаз, столь некогда яркий, уж не сияет более. «Ничего не осталось от этих князей, – говорил Орландо, позволяя себе вполне простительно преувеличить титул, – все исчезает, все до последнего мизинца». И он брал бесплотную руку в свою и сгибал и разгибал ей суставы. «Чья эта могла быть рука? – задавался

он вопросом. – Левая или правая? Мужчины или женщины? Юноши или старца? Натягивала ли поводья боевого коня или водила проворной иглой? Срывала ли розы или сжимала хладную сталь? Была ли она...» Но тут либо воображение ему изменяло либо, что более вероятно, принималось ему поставлять такую бездну примеров того, что могла бы делать рука, что, чураясь по обычаю своему главного труда композиции, каковой состоит в отсечении, он присоединял руку к прочим костям, припоминая при этом, что есть такой писатель Томас Браун, доктор из Норвича ¹³, чьи сочинения на подобные темы удивительно пленяли его фантазию.

И, подняв свой светильник и приаккуратив кости, ибо, хоть и романтик, он чрезвычайно любил порядок и терпеть не мог, когда даже моток ниток валялся на полу, а не то что череп предка, он возобновлял свое странное, унылое хождение по галереям в поисках чего-то среди картин, прерываемое в конце концов прямо-таки взрывом рыданий, когда он видел заснеженный голландский пейзаж кисти неизвестного мастера. Тут ему казалось, что дальше и жить не стоит. Забыв про кости предков и про то, что жизнь зиждется на гробах, он стоял сотрясаемый всхлипываниями, изнемогая от тоски по женщине в русских шальварах, с ускользящим взором, припухлым ртом и жемчугами на шее. Она убежала. Покинула его. Никогда уж он ее не увидит более. И он рыдал. И он пробирался обратно к своим покоям; и миссис Гримздитч, завидя свет в окне, отняв от губ кружку, говорила: благодарение Господу, его светлость опять у себя в целостности и сохранности, а она-то все время опасалась, что его подло убили.

Орландо тем временем придвигал стул к столу, открывал труды сэра Томаса Брауна и следовал за тонкими извивами одного из самых длинных и витиеватых размышлений доктора.

Ибо – хоть это материи не такого свойства, о каких стоит распространяться биографу, – для того, кто исполнил долг читателя, то есть определил по скудным, там и сям оброненным нашим намекам полный объем и очерк личности; расслышал в глуховатом нашем шепоте живой голос героя; усмотрел без всяких даже наших на то указаний черты его лица и понял

без единой нашей подсказки все его мысли – а для него-то мы только и пишем, – для такого приметливого читателя совершенно ясно, что Орландо странно состоял из многих склонностей – меланхолии, лени, страсти, любви к уединению, не говоря уж о тех причудах и тонкостях, которые были означены на первой странице, когда он целился кинжалом в голову мертвого негра: срезал ее, снова рыцарственно вывесил вне досягаемости и уселся потом на подоконник читать. В нем рано пробудился вкус к чтению. Еще в детстве паж, бывало, заставлял его за полночь с книжкой. У него отобрали свечу – он стал разводить светляков. Удалили светляков – он чуть не спалил весь дом головешкой. Короче, не тратя слов понапрасну – это уж пусть романист разглаживает мятые шелка, доискиваясь тайного смысла в их складках, – он был благородный вельможа, страдающий любовью к литературе. Многие люди его времени, а тем более его круга, избегали заразы и тем самым могли носиться, скакать верхом и строить куры в полное свое удовольствие. Но иные рано подвергались воздействию микроба, который зарождается, говорят, в пыльце асфodelей, навеивается италийскими и греческими ветрами и столь вредоносен, что из-за него дрожит занесенная для удара рука, туманится взор, высматривающий добычу, и язык заплетается на любовном признании. Роковой симптом этой болезни – замена реальности фантомом, и стоило Орландо, которого фортуна щедро наделила всеми дарами – бельем, столовым серебром, домами, слугами, коврами и постелями без числа, – стоило ему открыть книжку – как все его имущество обращалось в туман. Девять акров камня, составлявшие дом его, – исчезали; пропадали сто пятьдесят дворовых; восемьдесят скаковых лошадей становились невидимы; слишком долго тут было бы перечислять все ковры, диваны, конскую упряжь, фарфор, блюда, графины, кастрюли и прочую движимость, часто из кованого золота, которые улетучивались из-за этих миазмов, как морской туман. Но тем не менее факт остается фактом, и Орландо сидел и читал, один, голый человек на голой земле.

Теперь, в одиночестве, болезнь быстро им завладела. Часто читал он шесть часов кряду ночами; и когда к нему являлись за указаниями, как забивать скот и собирать пшеницу, он поднимал от объемистого тома блуждающий взор, словно не понимая, чего от него хотят. Уже это одно было куда как печально и надрывало сердце Холлу, сокольничему, Джайлзу, камердинеру, миссис Гримздитч, ключнице, мистеру Дапперу, капеллану. Ну на что, говорили они, книжки такому благородному господину? Пусть бы читали их умирающие да паралитики. Но худшее было впереди. Ведь когда болезнь чтения проникает в организм, она так его ослабляет, что он становится легкой добычей для другого недуга, гнездящегося в чернильнице и гноящегося на кончике пера. Несчастная жертва его начинает писать. И если достоин жалости в таком случае человек бедный, все имущество которого лишь стол да стул под протекающей крышей – ему и терять-то, в сущности, нечего, – положение богача, который владеет домами, скотом, служанками, бельем и ослами и тем не менее пишет книжки, горько прямо-таки до слез. Все это теряет в его глазах всякую прелесть: он пытаем каленым железом, пожираем ядовитыми газами. Он отдал бы все до полушки (такова беспощадность микроба), только бы написать тощую книжку и прославиться; но за все золото Перу не обрести ему сокровища одной-единственной чеканной строчки. И он угасает и чахнет, пускает себе пулю в лоб, отворачивается лицом к стене. Он прошел сквозь врата смерти, он видел адово пламя.

К счастью, Орландо обладал сильным организмом, и болезнь (по причинам, которые мы еще изложим) не могла сломить его так, как сломала многих ему подобных. Но она его серьезно затронула, как мы покажем в дальнейшем. А именно – просидев час или более над эзром Томасом Брауном и по тому, как трубит олень, и по оклику ночного сторожа удостоверясь, что стоит глубокая ночь и все крепко спят, Орландо пересек кабинет, достал из кармана серебряный ключик и отпер дверцу большого, стоявшего в углу шифоньера. Внутри было штук пятьдесят кипарисовых ларцов, и каждый снабжен ярлычком, аккуратно надписанным рукою Орландо. Он замер, как бы раздумывая, который открыть. На одном значилось «Смерть Аякса», на другом – «Рождение Пирама», на другом «Ифигения в Авлиде», на другом «Смерть Ипполита», на другом «Мелеагр», на другом «Возвращение

Одиссея», – словом, едва ли хоть один ларец не был украшен именем мифологического лица на роковом изломе его жизненного пути. И в каждом лежал объемистый документ, исписанный рукою Орландо. Да, Орландо страдал своим недугом уж много лет. Никогда еще мальчик так не клянчил яблока, как Орландо бумаги, ни сластей, как клянчил Орландо чернил. Ускользнув от игр и бесед, он скрывался за занавесами в исповедальнях или в чулане за спальней своей матери, где в полу была большая дыра, кошмарно пропахшая птичьим пометом, – с чернильницей в одной руке, с пером в другой и с бумажным свитком на коленях. Таким образом были написаны еще до его двадцатипятилетия сорок семь трагедий, историй, рыцарских романов, поэм: кое-что в стихах, иное в прозе; кое-что по-французски, иное по-итальянски, все романтическое, все длинное. Одно сочинение тиснул он в печати у Джона Бола в Чипсайде; но хоть и любовался книжицей в несказанном восторге, он, разумеется, не решился показать ее матери, ибо писать, а тем более издаваться, он знал, для дворянина неискупимый позор.

Сейчас, однако, в уединении, под глухим прикрытием ночи, он извлек из тайника толстую рукопись, озаглавленную «Ксенофила. Трагедия» или что-то в таком духе, и тонкую, озаглавленную просто «Дуб» (единственное односложное название среди множеств), придвинул к себе чернильницу, потерев перо и проделав еще ряд телодвижений, с которых все страдающие этим пороком начинают свой ритуал. Но тут он запнулся.

Поскольку записка эта имела для его истории исключительное значение, больше даже, нежели многие деяния, повергающие людей на колени и окрашивающие реки кровью, нам надлежит задаться вопросом, отчего он запнулся, и ответить по должному размышлении, что произошло это, мол, потому-то и потому. Природа, так лукаво над нами подтрунивающая, так разнообразно творящая нас из сора и бриллиантов, из гранита и радуги и норвящая все это сунуть в самый несуразный сосуд, – и вот поэт ходит с лицом мясника, а мясник с лицом поэта; природа, вечно балующаяся тайным кознодейством, так что и сегодня даже (первого ноября 1927 года) мы не знаем, зачем поднимались вверх по лестнице и зачем снова спускаемся вниз; и большая часть повседневных наших поступков – как скольжение корабля в неизвестном море, и матросы на топ-мачте кричат, направляя подозрительные трубы на горизонт: «Есть там земля или нет?» – на что мы ответим «да», если мы пророки; если мы честны, ответим «нет»; природа, которой от нас и так уж досталось в продолжение этой, впрочем, кажется, невозможно длинной фразы, еще усложнила свою задачу, а нас окончательно сбила с панталыку, не только напичкав наше нутро неизвестно чем – подпихнув пару полицейских штанов к подвенечной фате королевы Александры, – но ухитрившись все это вдобавок кое-как сметать на одну-единственную живую нитку. Память – белошвейка, и капризная белошвейка притом. Память водит иголкой так-сяк, вверх-вниз, туда-сюда. Мы не знаем, что за чем следует, что из чего проистекает. И вот простейший, обыкновенный жест – сесть к столу, придвинуть к себе чернильницу – взметает бездну самых диковинных, самых несуразных обрывков – то светлых, то темных, – они сверкнут, исчезнут, взвоятся, вспенятся, опадут, как исподнее семейства из четырнадцати человек, висящее на буйном ветру. Нет чтобы стать простым, откровенным, нехитрым делом, за которое не придется краснеть, – обыкновенные наши поступки обставляются трепетом и мерцанием крыл, взметом и дрожанием огней. Так, когда Орландо обмакнул перо в чернильницу, он увидел насмешливое лицо утраченной княжны и тотчас задался миллионом вопросов, и каждый был как омоченная желчью стрела. Где она и почему его бросила? Посол ей правда дядя или?... Может быть, они сговорились? Или ее принудили? Или она замужем? Или умерла? И все они до того отравляли его, что, давая выход своей муке, он в сердцах вонзил перо в чернильницу, разбрызгав чернила на стол, каковой жест, как это ни объясняй (а возможно, тут и нет объяснения: память необъяснима), тотчас подменил лицо княжны другим, совершенно иного свойства. Но чье же это лицо? – спрашивал себя Орландо. И ему пришлось ждать, может быть, целых полминуты, глядя на новый, легший поверх прежнего портрет, как следующая картинка волшебного фонаря сквозит уже под прежней, – пока он смог себе ответить. «Это

лицо того обшарпанного толстяка, который сидел в комнате Туитчетт, тому много-много лет, когда старая королева Бесс приезжала сюда обедать; и я его видел, – продолжал Орландо, цепляясь за свой пестрый лоскут, – он сидел за столом, когда я спускался, я шел мимо и заглянул в дверь, и у него еще были такие немыслимые глаза, я больше таких не видывал, да, но кто же он, кто, черт его побери?» – спросил Орландо, ибо тут Память вдобавок ко лбу и глазам подсунула ему сперва дешевое засаленное жабо, потом темный камзол и, наконец, пару грубых башмаков, какие носят жители Чипсайда. «Не дворянин, нет, не из наших», – сказал Орландо (чего он, конечно, никогда не сказал бы вслух, ибо был учтивейший молодой человек, и что, однако, доказывает, как благородное происхождение определяет строй мыслей и как, между прочим нелегко, стать дворянину писателем). «Поэт, не иначе». По всем законам Память, вдоволь над ним поизмывавшись, могла бы сейчас взять и стереть всю картину или притянуть сюда что-нибудь вовсе уж идиотское – собаку, например, гонящуюся за кошкой, или старуху, сморкающуюся в красный фуляр, – и, поняв, что ему не угнаться за всеми ее скачками, Орландо побежал бы пером по бумаге. (Мы ведь можем, можем, надо только решиться, вышвырнуть нахалку Память за дверь со всеми ее прихвостнями.) Но Орландо медлил. Память все держала перед ним образ обшарпанного толстяка с сияющими глазами. Он все смотрел, все медлил. Он запнулся. А запинаться нельзя, тут-то нам и погибель. Тут-то вползает в нашу крепость мятежный дух и поднимает войска на восстание. Орландо уже разок так запнулся, и этим тотчас воспользовалась Любовь, вломившись к нему со всей своей чудовищной ордой, с гобоями, цимбалами и сорванными с плеч головами в кровавых патлах. Как он терзался тогда! И вот он снова запнулся, и в пробитую брешь скакнула Суетность, эта карга, и эта ведьма Поэзия, и Жажда Славы – старая потаскуха; взялись за руки и устроили из его сердца танцульку. Стоя навытяжку в тиши своего кабинета, он поклялся, что станет первым поэтом в своем роду и покроет свое имя немеркнущим блеском. Он говорил (перечисляя имена и подвиги предков), что вот сэр Борис разбил в бою поганых, сэр Гэвин – поляка, сэр Майлз – турка, сэр Эндрю – франка, сэр Ричард – австрияка, сэр Джордан – галла, и сэр Герберт – испанца. Да, они умели биться и побеждать, бражничать и любить, охотиться и транжирить, пировать и волочиться – а что осталось? Что? Череп, палец. Тогда как, сказал он, обращаясь к распахнутому на столе сэру Томасу Брауну... и тут он снова запнулся. От всех стен комнаты, от ночного ветра, от лунного света чародейно отдалась божественная мелодия из таких слов, которые, чтобы они совсем не затмили нашу бедную страницу, мы и оставим лежать там, где они лежат, погребенными, но не мертвыми, скорее набальзамированными, так свежи их краски, так глубоко их дыхание, – и Орландо, сравнив этот подвиг с подвигами своих предков, воскликнул, что те со всеми своими делами – прах и тлен, этот же человек и слава его – бессмертны.

Скоро, однако, он понял, что битвы, которые вели сэр Майлз и прочие против вооруженных рыцарей, дабы завоевать королевство, и вполнину не были так свирепы, как те, что вел ныне он против родного языка, дабы завоевать бессмертие. Всякого, кто хотя бы шапочно знаком с пытками сочинительства, можно избавить от подробностей: как он писал и испытывал удовлетворение, читал и испытывал омерзение; правил и рвал, вымарывал, вписывал; приходил в восторг, приходил в отчаяние; с вечера почивал на лаврах и утром вскакивал как ужаленный; ухватывал мысль и ее терял; уже видел перед собою всю книгу, и вдруг она пропадала; разыгрывал за едою роли своих персонажей, их выкрикивал на ходу; вдруг плакал, вдруг хохотал; метался от одного стиля к другому: то избирал героический, пышный, то бедноватый, простой, то долины Темпа, то поля Кента и Корнуолла – и никак не мог решить, божественнейший ли он гений или самый жуткий дурак на всем белом свете.

Ради ответа на этот последний вопрос он, после месяцев упорных трудов, почел нужным нарушить многолетнее уединение и сообщить с внешним миром. У него был в Лондоне приятель, некто Джайлз Ишем Норфолкский, который, хоть и знатного рода юноша, водил знакомство с писателями и, без сомнения, мог свести Орландо с кем-нибудь из этого благословенного, да что там – святого братства. Ибо для Орландо, в нынешнем его

состоянии, человек, который написал книжку и увидел ее в печати, был осиян блеском, затмевавшим блеск всякой знатности и положения в обществе. Ему представлялось, что столь божественные идеи преобразуют даже и самые тела своих обладателей. Вместо волос у них нимбы, дыхание благоухает ладаном, и розы растут из их уст – чего, конечно, он не мог сказать ни о себе самом, ни о мистере Даппере. Он и не воображал большего счастья, как, сидя за кулисами, послушать их беседы. При одной лишь мысли об этих острых и смелых речах даже воспоминания о разговорах с друзьями-придворными – собаки, лошади, женщины, карты – наводили на него несносную тоску. Он с гордостью вспоминал, как его всегда дразнили книжным червем, как смеялись над его страстью к уединению и литературе. Он был не мастер на ловкие фразочки. В дамских гостиных стоял столбом, шагал как гренадер, то и дело краснел. Два раза, по чистой рассеянности, свалился с коня. Однажды сломал леди Винчилси веер, сочиняя стихи. Он с удовольствием перебирал эти и другие свидетельства своей непригодности к светской жизни, и сладостная надежда, что все метания юности, его неловкость, склонность краснеть, долгие прогулки и любовь к сельской жизни доказывают, что сам он принадлежит скорее к избранному, нежели к знатному племени, – скорей писатель, нежели аристократ, – завладела его душой. Впервые после той ночи Великого потопа он чувствовал себя счастливым.

И вот он упросил мистера Ишема Норфолкского препроводить мистериу Николасу Грину в Клиффордс-Инн письмо, выражавшее восхищение Орландо его трудами (Ник Грин был в то время весьма знаменитый писатель) и желание свести с ним знакомство, о каковой чести он едва осмеливается просить, ибо ничего не может предложить взамен; но, ежели мистер Николас Грин великодушно согласится его посетить, карета четверкой будет ждать на углу Феттер-лейн в любой час, какой мистер Грин благоволит назначить, и его препроводят в дом Орландо. Следующие фразы добавьте по вкусу и сами вообразите восхищение Орландо, когда, в довольно скором времени, мистер Грин принял приглашение Благородного Лорда, занял место в его карете и был доставлен в зал южного крыла главного здания ровно в семь часов пополудни в понедельник двадцать первого апреля.

Здесь принимали многих королей, королев и послов; здесь стаивали судьи в своих горностаях. Самые очаровательные дамы страны приходили сюда, и самые суровые воины. Здесь были вывешены знамена Флодена¹⁴ и Азенкура¹⁵. Здесь были выставлены гербы со львами, леопардами и коронами. Здесь трещали, бывало, от золотых и серебряных брашен длинные столы и в огромных каминах италийского драгоценного мрамора целый дуб с миллионом своих листочков, со всеми гнездами воробьев и грачей, еженощно сжигался дотла. Сейчас здесь стоял поэт Николас Грин, дурно одетый, в мятой шляпе, потрепанном камзоле, с маленьким саквояжем в руке.

Легкое разочарование в поспешившем к нему навстречу Орландо было неминуемо. Росту поэт был не выше среднего: неказистый, щуплый, какой-то сутулый; входя, он наступил на лапу догу, и тот его укусил. Вдобавок Орландо, при всем своем знании человечества, не знал толком, куда его отнести. Что-то в нем было такое: и не слуга, и не помещик, и не вельможа. Голова с выпуклым лбом и резкий нос – благородной как будто формы; но скошенный подбородок. Сияющие глаза, но распущенные, дряблые губы. Нет, смущало скорее общее выражение этого лица. Не было в нем того величавого покоя, который так приятно опечатывает высокородное чело, не было и благопристойного раболепства, проясняющего черты вышколенной челяди, – это было рыхлое, сморщенное, вытянутое лицо. Хоть и поэт, он, кажется, скорей умел распекать, чем льстить; дуться, чем ластиться; ковылять, чем прищпоривать коня; суетиться, чем предаваться неге; ненавидеть, чем любить. Это, кстати, сквозило и в торопливости его движений, в острой настроенности взгляда. Орландо несколько смешался. Меж тем они пошли обедать.

Тут Орландо, обычно принимавший такие вещи как должное, впервые безотчетно

устыдился количества своих слуг и великолепия стола. Еще более удивительно – он не без гордости вспомнил (обычно эта мысль ему претила) про свою прародительницу Молл, которая доила коров. Он уже готов был навести речь на эту скромную женщину с ее подойником, но поэт его опередил, заметив, что, как ни странно, при всей затасканности фамилии Грин предки его явились сюда вместе с Завоевателем и принадлежали к цвету французской знати. К несчастью, род захирел и мало что оставил в веках, разве что подарил свое имя королевскому округу Гринвич. Дальнейшие наблюдения в том же духе – об утраченных замках, гербах, родичах, баронствующих на севере, брачных узлах с аристократией на востоке, о том, как одни Грины пишут свою фамилию с двойным «и», а другие без оногo, – продолжались до тех пор, покуда не подали оленину. Тут Орlando ухитрился вставить несколько слов насчет бабушки Молл с ее коровами и успел слегка облегчить душу к тому времени, когда перед ними явились фазаны. Но только когда рекой полилась мальвазия, осмелился Орlando перейти к теме, которую, увы, не мог не считать еще более важной, чем Грины или коровы, а именно к священному предмету поэзии. Едва было произнесено это слово, глаза поэта загорелись; он отбросил заемные повадки благородного господина, стукнул рюмкой об стол и разразился такой длинной, путаной, пылкой и горькой повестью, каких Орlando не слыхивал иначе, как из уст обманутой женщины, – об одной своей пьесе, о другом поэте, об одной критике. Что же до существа самой поэзии, Орlando уловил только, что продавать ее труднее, чем прозу, и строчки хотя и короче, их долше писать. Так разговор шел с бесконечными ответвлениями, покуда Орlando не отважился намекнуть, что и сам он, грешный, имеет дерзость писать, – но тут поэт вскочил со стула. За панелью пискнула мышь, сказал он. Нервы у него, объяснил он, совсем сдали, и мышинный писк на недели его выводит из строя. Дом, без сомнения, кишит паразитами, просто Орlando не замечал. Далее поэт поведал Орlando все о своем здоровье за последние десять лет. Оно было столь расшатано, что просто удивительно, как он выжил. Он перенес паралич, подагру, малярию, водянку и три вида лихорадки по очереди; сверх того, у него расширение сердца, увеличение селезенки и большая печень. Но мало этого, сказал он Орlando, у него бывают ощущения в хребте, не поддающиеся описанию. Один позвонок, приблизительно третий сверху, горит как в огне, другой, приблизительно второй снизу, холодеет как лед. Иной раз он просыпается буквально со свинцовой головой, а то как будто внутри у него жгут тысячи свечей и запускают фейерверки. Он различит, он сказал, розовый лепесток через две перины и может пройти через весь Лондон с завязанными глазами: его стопы наизусть помнят все мостовые. Короче говоря, он представляет собой столь чувствительный, столь тонко сработанный механизм (тут он как бы невзначай поднял руку, и рука была в самом деле безукоризненной формы), что просто диву дается, как поэма его разошлась всего в пятистах экземплярах, – впрочем, это, разумеется, козни. Одним словом, заключил он, стукнув кулаком по столу, – искусство поэзии в Англии отжило свой век.

Как могло это случиться, когда Шекспир, Марло, Бен Джонсон, Браун, Джон Донн еще писали или только что перестали писать, Орlando, высыпающий имена своих любимцев, решительно не постигал.

Грин сардонически расхохотался. Положим, у Шекспира, согласился он, и сыщется несколько недурных сценок, но ведь все почти содраны у Марло. Этот Марло кое-что обещал, но как можно судить о мальчишке, который умер, не доживши до тридцати? Что до Брауна, этот вздумал писать поэзию прозой, а подобные вычуры скоро набивают оскомину публике. Донн – шарлатан, маскирующий убогость смысла темным слогом. Простаки ловятся на эту наживку, но через каких-нибудь двенадцать месяцев стиль выйдет из моды. Ну а Бен Джонсон – Бен Джонсон его друг, а он никогда не хулит своих друзей.

Нет, заключил он, прошел, прошел великий век литературы, – великий век литературы был при греках, елизаветинский век во всех отношениях уступает Элладе. В великий век поэты устремлялись к божественной цели, которую он назвал бы *La Gloire*¹⁶ (он произносил

«Глор», и Орландо не сразу ухватил смысл). Теперь молодые сочинители все на жалованье у книгопродавцев и готовы состряпать любой вздор, лишь бы те могли его сбыть. Шекспир тут первейший мерзавец, но ничего, он уже поплатился. Нынешних, объяснял Грин, всех узнаешь по жеманности притязаний и дерзкой дикости опытов – греки такого бы и секунды не потерпели. Как ни больно ему в этом признаваться – он ведь любит литературу больше жизни, – он ничего не видит хорошего в настоящем и не питает никаких надежд на будущее. И с тем он налил себе еще стакан вина.

Эти откровения потрясли Орландо; однако он замечал невольно, что самого критика нисколько они не печалят. Напротив, чем больше бранил он свой век, тем больше казался доволен. Он как сейчас помнит, рассказывал он, один вечер в Таверне Петуха на Флит-стрит, когда там собрались Кит Марло и кое-кто еще. Кит расходился, наливался, ему это было недолго, и молот чепуху. Он так и видит, как Кит икает, тыча стаканом в приятеля: «Вот хоть ты меня режь, Билл (это он Шекспиру), набегает большая волна, и ты на гребне», – чем он хотел сказать, пояснил Грин, что мы на пороге великого века английской литературы, а из Шекспира может выйти толк. Марло повезло, он был убит два дня спустя в пьяной драке¹⁷ и не увидел, чем обернулись его пророчества. «Дурак несчастный! – сказал Грин. – Такое молоть! Подумать только – великий век! Это елизаветинский-то век великий!»

– То-то, любезный лорд, – продолжал он, поуютней устраиваясь в кресле и крутя меж пальцев стакан, – не будем унывать, будем дорожить прошлым и честью воздадим тем авторам – немного уж их осталось, – которые берут античность за образец и пишут не ради презренной пользы, но для Глор. (Орландо желал бы ему лучшего выговора.) Глор, – продолжал Грин, – вдохновляет возвышенный дух. Вот имел бы я пенсион в три тысячи фунтов, выплачиваемый поквартально, я бы жил для одной лишь Глор. Каждое утро валялся бы в постели, перечитывая Цицерона. Научился бы так подражать его слогу, что вы не отличили бы меня от него. Вот что называю я благородной изящной словесностью, – сказал Грин. – Вот что называю я Глор. Но для этого надобен пенсион.

Орландо меж тем оставил всякую надежду поговорить с поэтом о своих собственных трудах, но ничего, ничего: разговор перекинулся на личности Шекспира, Бена Джонсона и прочих, – всех их Грин близко знал и о каждом мог порассказать немало забавных анекдотов. Никогда Орландо так не смеялся. Вот они каковы, его божества! Половина из них пьянчуги, все волокиты! Все почти собачатся с женами; ни один не побрезговал ложью, ни самой презренной интригой. Они могут царапать стишки на обороте счета из прачечной, прислонив его к затылку наборщика в дверях печатни. Так явился в свет Гамлет, и Лир, и Отелло. Немудрено, как заметил Грин, что в пьесах этих столько огрехов. Прочее время тратится на попойки, пирушки по кабакам, и при этом выкрикивается такое, что превосходит самое бурное воображение, и такое вытворяется что и не снилось самым отчаянным при дворным шалунам. Все это Грин рассказывал с воодушевлением, совершенно пленявшим Орландо. Он обладал подражательным даром и воскрешал к жизни мертвых, а порой высказывал и прелестные суждения о книгах, если те были написаны три века тому назад.

Так проходило время, и Орландо испытывал к своему гостю странную смесь приязни и презрения, восхищения и жалости и еще что-то столь смутное, что не покрывалось точным наименованием, но слегка отдавало ужасом и слегка восторгом. Он непрестанно говорил о себе, но был столь увлекательный собеседник, что можно было заслушаться повестью о его подагре. И он был так остроумен, так невоспитан, так запанибрата с Богом и Женщиной; сочетал в себе столько невероятных способностей; был начинен такими увлекательными сведениями; умел приготовить салат на триста разных ладов; знал все, что только можно знать о букетах вин; играл на полудюжине музыкальных инструментов и был первым, и, вероятно, последним, по части запекания сыра в большом итальянском камине. То, что он не отличал герани от гвоздики, дуба от березы, дога от борзой, суягной овцы от ярочки, пшеницы от ячменя, пашни от залежи; не слыхивал об урожае и недороде; считал, что

апельсины растут под землей, а репа на дереве; предпочитал сельскому любой городской пейзаж, – все это и многое другое поражало Орландо, никогда не встречавшего подобных людей. Даже горничные, презирая его, прыскали при его шуточках, и лакеи, ненавидя его, топтались поблизости, прислушиваясь к его историям. В самом деле, никогда еще в доме не царил такое оживление – и все это давало Орландо пищу для раздумий и побуждало сравнивать новый образ жизни с прежним. Он вспоминал привычные беседы об апоплексическом ударе короля Испанского или случке кобеля; вспоминал, как делил свое время между туалетным столиком и конюшнями; как лорды задавали храпака над своим вином и ненавидели всякого, кто их будил; как мощны и бодры они телесно, как умом – ленивы и робки. Растревоженный этими мыслями, не в силах их уравновесить, он пришел к заключению, что впустил в дом пагубный дух беспокойства, который впредь не даст ему мирно спать по ночам.

В тот же самый миг Ник Грин пришел к прямо противоположному выводу. Лежа как-то поутру в мягчайшей постели, на тончайших простынях и глядя сквозь свое эркерное окно на дерн, в течение трех веков не знававший ни щавеля, ни одуванчика, он подумал, что, если тотчас не унесет отсюда ноги, его здесь заживо уморят. Вставая и слушая воркование голубей, одеваясь и слушая шелест струй, он чувствовал, что без грохота ломовых телег по булыжникам Флит-стрит ему не написать больше ни строчки. Если это еще немного продлится, подумал он, слушая, как лакеи поправляют огонь в камине и уставляют за дверью скатерть серебряными приборами, я усну (тут он истово зевнул) и никогда не проснусь.

А потому он отыскал Орландо в его кабинете и объявил ему, что всю ночь не сомкнул глаз из-за тишины. (В самом деле, замок на пятнадцать миль во все стороны был окружен парком и обнесен стеной в десять футов высотой.) Тишина, сказал он, всего губительней для его нервов. С разрешения Орландо, он нынче же утром откланяется. Орландо испытал известное облегчение, но ему и ужасно было жаль его отпускать. Дом без него, думал он, покажется скучным. При расставании (ибо до сих пор речь об этом предмете не заходила) он отважился всучить поэту свою пьесу о смерти Геракла и попросить его суждения. Поэт пьесу взял, что-то принялся мямлить о Глор и Цицероне, но Орландо прервал его, пообещав поквартально выплачивать пенсион, после чего Грин, рассыпаясь в изъявлениях преданности, вскочил в экипаж и был таков.

Никогда еще большой зал не казался таким огромным, пышным и пустым, как когда откатывала коляска. Орландо знал, что уж ему не решиться поджаривать сыр в итальянском камине; не отважиться отпускать шуточки по поводу итальянской живописи; не изловчиться так смешивать пунш, как положено его смешивать; тысячи милых колкостей и остроумия навсегда для него утрачены. Но зато какое счастье больше не слышать этого бранчливого голоса, какая роскошь снова вкусить одиночество – так невольно он рассуждал, отвязывая дога, который шесть недель просидел на цепи, ибо он стремился куснуть поэта, едва его завидит. Ник Грин в тот же вечер водворился на углу Феттер-лейн и застал там все приблизительно таким же, как и оставил. Миссис Грин разрешалась от бремени в одной комнате; Том Флетчер пил джин в другой. Повсюду валялись по полу книги; обед – какой-никакой – подавался на туалетном столике, на котором дети пекли куличики из песка. Тут, Грин чувствовал, была истинная атмосфера для творчества; тут ему хорошо писалось, и он писал. Тема напрашивалась сама. Благородный лорд у себя дома. «В гостях в поместье у вельможи» – так как-нибудь будет называться его поэма. Схватив перо, которым сынишка щекотал кошке ухо, и вонзив его в служившую чернильницей яичную скорлупу, Грин тотчас настроил вдохновенную сатиру. Она была столь меткой, что ни у кого не могло явиться сомнений, что разделяваемый в ней лорд – это Орландо; интимнейшие его замечания и сокровеннейшие поступки, его порывы и прихоти, самый цвет волос и манера на иноземный лад раскатывать «эр» – все было представлено публике. Если же сомнения все-таки могли зародиться, Грин их рассеивал, вводя в текст, почти без камуфляжа, отрывки из этой аристократической трагедии «Смерть Геракла», которую он, в точности как и ожидал, нашел напыщенной и многословной донельзя.

Памфлет, тотчас выдержав несколько изданий и оправдав затраты миссис Грин на десятые роды, вскоре был препровожден друзьями, всегда пекущимися о подобных материях, самому Орландо. Прочитав его со смертельным самообладанием от начала и до конца, он позвонил лакею, протянул ему сей документ на кончике каминных щипцов, приказал как можно глубже засунуть его в самую зловонную помойку поместья. Когда лакей направился к двери, Орландо его окликнул.

– Седлай самого быстрого коня в конюшне, – сказал он. – Во весь опор скачи в Харвич.

Садись на корабль, какой пойдет на Норвегию. Там купи на псарне у самого короля отборнейших борзых королевских кровей, обоего пола. Безотлагательно доставь их сюда. Ибо, – пробормотал он едва слышно, вновь принимаясь за чтение, – с людьми я покончил.

Понятливый слуга поклонился и исчез. Он неукоснительно выполнил поручение своего господина и вернулся в день три недели спустя, ведя на сворке превосходных борзых, из которых одна, пола женского, в ту же ночь произвела на свет под обеденным столом восьмерых прелестных щенков. Орландо велел принести их к нему в опочивальню.

– Ибо, – сказал он, поглаживая милых зверушек по головам, – с людьми я покончил.

Однако он поквартально выплачивал пенсию.

Так к тридцати годам, или около того, наш юный вельможа не только вкусил от всех предлагаемых жизнью плодов, но вполне познал их тщету. Любовь, честолюбие, женщины, поэты – Бог с ними со всеми! Литература – фарс. В ту ночь, когда он прочитал Гринов пасквиль «В гостях у вельможи в поместье», он устроил большой костер из пятидесяти семи сочинений, пощадив лишь «Дуб»: юношеская проба пера, и совсем коротенькая к тому же. Две вещи теперь оставались, в какие он верил: собаки и природа – борзая и розовый куст. От пестрого многообразия мира, от капризной сложности жизни ничего более не оставалось. Собака и куст – вот и все. И, страшнув с себя тяжелые лохмотья иллюзий, совсем себя, следственно, оголив, он подзывал к себе собак и шагал через парк.

Так долго он просидел затворником над рукописями и книгами, что чуть не забыл об обольщениях природы, которые бывают в июне столь неотразимы. Поднявшись на вершину холма, откуда в ясные дни открывался вид на половину Англии с каемкой Шотландии и Уэльса, он бросался на землю под любимым своим дубом и чувствовал, что, если ему до конца дней не придется больше беседовать ни с мужчиной, ни с женщиной, если борзые его не разовьют в себе дара речи, если судьба не подсунет ему еще поэта или княжну, он довольно сносно проведет отпущенный ему срок. /

Так он приходил сюда день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Он видел, как буки занимаются золотом и расправляются молодые папоротники; видел лунный серп и потом круглую луну; видел... но, быть может, читатель и сам вообразит все причитающееся ему дальше и представит себе, как каждое деревцо, каждый кустик в округе сперва будут обрисованы в зеленом виде, затем в золотом; как восходит луна и заходит солнце; как весна следует после зимы и осень за летом; как день сменяется ночью, а ночь сменяется днем; как разражается гроза и затем вновь проясняется небо; как все остается, в общем, без перемен и двести, и триста лет, разве что накопится немного пыли и паутины, с которой за полчаса сладит любая старушка, – умозаключение, к которому мы, нельзя не признаться, могли бы прийти и быстрее, с помощью простейшей фразы «Прошло время» (в скобках точно означив срок). – и ничего решительно не случилось.

Но, к сожалению, Время, с такой завидной пунктуальностью диктующее, когда цвести и когда увядать цветку или животному, на душу человека не оказывает столь явственного воздействия. Более того – человеческая душа сама непонятным образом влияет на ткань времени. Какой-нибудь час, вплетаясь в непостижимую вязь нашего ума, может пятидесяти-, а то и стократно растянуться против своих законных размеров; с другой стороны, какой-нибудь час может пробежаться по циферблату сознания с быстротою молнии. Это разительное расхождение между временем на часах и временем в нас покуда недостаточно изучено и заслуживает дальнейшего пристального исследования. Но биограф, интересы

которого, как мы уже упоминали, строго ограничены, вправе удовлетвориться здесь одним простым суждением: когда человек достиг тридцатилетнего возраста, вот как Орландо, то время, когда он думает, становится невероятно долгим; то время, когда он действует, становится невероятно коротким. Орландо отдавал распоряжения по своему гигантскому хозяйству в мгновение ока; но, едва он уединялся на холме под своим дубом, секунды начинали взбухать и наливать так, будто им вовек не пробить. Наливались они к тому же чем-то уж вовсе невообразимым. Ибо его не просто одолевали вопросы, ставившие в тупик величайших мыслителей, например: что такое любовь? что такое дружба? что есть истина? Но стоило ему ими задаться, все его прошлое, такое, казалось бы, бесконечное и насыщенное, устремлялось к готовой пробить секунде, раздувало ее во много раз против натуральной величины, окрашивало всеми цветами радуги и какой только не начинало дребеденью.

В подобных раздумьях (или как их там ни назови) проводил он месяцы и годы своей жизни. Не будет преувеличением сказать, что ему случалось выйти из дому после завтрака тридцатилетним и воротиться к обеду пятидесятилетним человеком. Иные недели старили его на сто лет, иные и трех секунд не прибавляли к его возрасту. Вообще, о продолжительности человеческой жизни (о сроке, отпущенном животным, лучше тут умолчим) мы рассуждать не беремся, потому что стоит заявить, что жизнь бесконечно длинна, и тут-то нам и напомнят, что промельк ее мгновенной опадания розового лепестка. Из двух сил, которые вперемежку и, однако же, что особенно странно, обе разом командуют нашим убогим рассудком – краткость и долготы, – Орландо то попадал во власть тяжкого слоноподобного божества, то легкокрылой мухи. Жизнь казалась ему нескончаемой. И все равно промелькнула как миг. Но даже когда она особенно простиралась вдаль, и секунды особенно разбухали, и он будто блуждал один по бескрайним пустыням вечности, и то ему не хватало времени разглядеть и разгадать петлистые, тесные пергаментные строки, которые тридцатилетний обиход с мужчинами и женщинами тугим свитком свил в его мозгу и сердце. Он вовсе еще не покончил с мыслями о Любви (дуб за этот период успел много раз зазеленеть и отряхнуть листву), а Честолюбие уже вытолкнуло ее с поля и заместило Дружбой и Литературой. И поскольку первый вопрос – что такое Любовь? – не был решен, она по всякому поводу и без повода врывалась, оттирала Книги, и Метафоры, и Каков смысл нашей жизни? – на кромку поля, где они и выжидали, когда снова смогут ринуться в игру. Процесс решения еще запутывался и разбухал из-за того, что был роскошно иллюстрирован, и притом не только картинками – старая королева Елизавета, в розовой парче, на гобеленовом диване, в руке табакерка из слоновой кости, рядом золотая рукоять кинжала, – но и запахами – как она была надушена! – и звуками: как трубили олени в Ричмонд-парке тем зимним днем... И мысль о любви сливалась, сплавлялась с зимой и снегом, с жаром камина; с русскими князьями, золотыми кинжалами, зовами оленей; со слюнявым лепетом старого короля Якова, и с фейерверками, и с мешками сокровищ в трюмах елизаветинских кораблей. Каждая часть, едва он пробовал сдвинуть ее с места, упиралась в другую, – так в кусок стекла, год пролежавший на дне морском, вырастают кости, стрекозы, и монеты, и кудри утопленниц.

– О Господи, опять метафора, – воскликнул он при этих словах (что показывает, как беспорядочно кружила его мысль, и объясняет, почему дуб столь часто зеленел и осыпался, покуда Орландо бесплодно бился над решением вопроса о Любви). – Вот уж зачем они нужны? – спросил он себя. – Почему просто-напросто не сказать, ну... – И тут он думал полчаса, – или, может быть, это два с половиной года? – как просто-напросто сказать, что такое Любовь. – Образ, кстати, явно натянут, – рассуждал он, – никакая стрекоза не станет жить на дне морском, разве что в силу совершенно исключительных обстоятельств. А если Литература не Супруга и Наложница Истины – что же она такое? Ах, надоело! – крикнул он. – При чем тут Наложница, если уже сказано – Супруга? Почему нельзя просто назвать вещи своими именами и успокоиться?

И он попытался сказать, что трава зеленая, а небо синее, и тем ублажить суровый дух поэзии, которому, хоть и с почтительного расстояния, он все еще невольно поклонялся.

– Небо синее, – сказал он. – Трава зеленая.

Но, подняв глаза, он убедился, что, совершенно даже напротив, небо было как покровы, опадающие с голов тысячи мадонн, а трава темнела и стлалась, как бег девичьей стайки, спасающейся от объятий волосатых сатиров из очарованного леса.

– Ей-богу, – сказал он (потому что взял скверную привычку разговаривать с самим собою вслух), – хрен редьки не слаще. И то и другое – фальшиво донельзя.

И он отчаялся в собственной способности определить, что такое поэзия и что такое правда, и впал в глубокое уныние.

Тут мы воспользуемся паузой в его монологе, чтобы порассуждать о том, как странно видеть Орландо, распростертого на траве в июньский день, и почему столь прекрасный собою молодой человек, в полном обладании своими способностями, столь здоровым телом, столь образцовыми щеками и ногами – человек, без раздумья бросающийся в атаку впереди войска и принимающий поединок, – почему он страдает таким бессилием мысли и так этим мучится, что, когда дело доходит до вопроса о поэзии и его неспособности с ним сладить, он робеет, как маленькая девочка под маменькиной дверью? Мы подозреваем, что насмешка Грина над его трагедией уязвила его не меньше, чем насмешка Саши над его любовью. Но мы, однако, слишком отвлеклись...

Орландо все раздумывал. Он продолжал всматриваться в небо и траву, стараясь угадать, что сказал бы про них истинный поэт, чьи стихи напечатаны в Лондоне. А Память меж тем (повадки ее Нами уже описаны) все совала ему под нос лицо Николаса Грина, как будто этот вислогубый зоил, и, как выяснилось, еще и предатель, был Муза собственной персоной и это его обязан улаживать Орландо. И Орландо тем летним утром предлагал ему на выбор много словесных оборотов, и скромных, и фигурных, а Ник Грин все качал головою, хмыкал и что-то пел про Глор, про Цицерона и что поэзия в наш век мертва. Наконец, вскочив на ноги (уже наступила зима, и было очень холодно), Орландо произнес клятву, одну из самых знаменательных в своей жизни, ибо она обрекала его такому рабству, беспощадней которого на свете не бывает.

– Будь я проклят, – сказал Орландо, – если я напишу или попытаюсь написать еще хоть слово в угоду Нику Грину или Музе. Хорошо ли, плохо, или посредственно – я буду писать отныне и вовеки в угоду самому себе. – И тут он будто разорвал все свои бумаги и швырнул их в усмешливую, наглую физиономию. После чего, как увертывается дворняга, когда вы наклонились, чтобы запустить в нее камнем, Память увертливо убрала портрет Николаса Грина с глаз долой и вместо него подсунула Орландо... вот именно что ничего не подсунула.

Но Орландо все равно продолжал думать. А ему было, было о чем подумать. Ведь, разорвав тот свиток, тот пергамент, он одним махом разорвал и ту скрепленную гербовой печатью грамоту, которой в тиши своего кабинета он сам себя назначил, как назначает посланника король, – первым в своем роду поэтом, первым писателем своего века, даруя душе своей вечное бессмертие, а телу – вечный покой среди лавров и неосязаемых стягов людского поклонения вовеки. Как ни было все это великолепно, он разорвал ту грамоту и выбросил в мусорную корзину.

– Слава, – сказал он, – не что иное, как (и поскольку не было на него Ника Грина, чтобы его окоротить, он упивался, заливался образами, из которых мы выбираем только два-три самых скромных)... как расшитый камзол, стесняющий члены; серебряные, давящие на сердце латы; щит повапленный, заслоняющий воронье пугало, – и т. д. и т. п. Суть всех этих образов сводилась к тому, что слава мешает и теснит, безвестность же, как туман, обволакивает человека: безвестность темна, просторна и вольготна, безвестность оставляет духу нестесненно идти своим путем. На человека безвестного милосердно изливаются потоки темноты. Никто не знает, куда уходит он, куда приходит. Он волен искать, он волен объявлять правду; лишь он один свободен; он один правдив; он один наслаждается покоем. И он затих под дубом, очень даже удобно и уютно ему подостлавшим свои корявые корни.

Лежа так, глубоко уйдя в свои мысли о благословении безвестности, о том, какое это счастье быть безымянным, быть волной – вот набежит, вот снова опадет на дно морское; о

том, как безвестность избавляет душу от докучной зависти и злобы, гонит по жилам чистый ток великодушия и щедрости, учит давать и брать, не клянча и не расточая ни благодарности, ни похвал; так, верно, Жили все великие поэты, полагал он (хотя, по скудости познаний в греческом, не мог подкрепить свою идею), так, думал он, пишет Шекспир, так зодчие возводят храмы, не ища ни воздаяния, ни славы, была бы только работа днем да вечером кружка пива. «Вот это жизнь, – думал он, потягиваясь под дубом. – Но отчего бы сию минуту ей не предаться?» Мысль эта пронзила его, как пуля. Честолюбие грузилом шлепнулось на дно. Освободясь от гзызы попанной любви, уязвленного тщеславия – словом, всякого зуда и волдырей, какими он маялся из-за житейской крапивы, совершенно бессильной обстрекать человека, если тот избегает почестей, – он широко раскрыл глаза, и прежде широко открытые, но видевшие только мысли, и увидел далеко в низине свой собственный дом.

Он раскинулся в лучах весеннего утра. Скорей не дом, а целый город, но не слепленный кое-как прихотью несговаривавшихся хозяев, а возведенный осмотрительным, рачительным строителем, руководившимся одной-единственной идеей. Дворы и строения – серые, красные, бурые – располагались стройно, соразмерно; вот двор – удлиненный, а вот квадратный; где статуя, где фонтан; одно строение лежит плоско, другое подведено под острый конек; где звонница, а где часовня; меж ними сверкали ярчайшие полотнища муравы, темнели группы кедров и пестрели куртины; и все это плотно, но не сжимая, не стесняя, замыкал изгиб тяжелых стен; и кучерявились, взмывая в небо, дымки несчетных труб. Это могучее, но строго рассчитанное сооружение, способное укрыть тысячи человек и, наверное, две тысячи коней, возведено, думал Орlando, работниками, не передавшими векам своих имен. Здесь жили, мне и не счесть сколько столетий, безвестные поколения моих безвестных предков. Ни один из всех этих Ричардов, Джонов, Марий, Елизавет не оставил по себе следа, но все они, трудясь – кто иголкой, кто лопатой, – любя, рожая себе подобных, оставили вот это.

Никогда еще дом не выглядел благородней, человечней.

Так к чему же заноситься, метить куда-то выше их? Какая оглушительная наглость и тщета – пытаться усовершенствовать это безымянное творение, подправить труд исчезнувших рук. Куда лучше прожить неизвестным и оставить после себя арку, беседку, стену, за которой вызревает персик, чем, мелькнув ярким метеором, улетучиться дотла. И в конце концов, сказал он сам себе, загораясь при виде огромного дома и дерна внизу, неизвестные лорды и леди, которые здесь жили, никогда не забывали кое-что приберечь для наследников: вдруг протечет крыша, повалится дерево. И всегда был у них на кухне теплый уголок для старенького пастуха, всегда хлеб для голодных; всегда были начищены кубки, даже когда хозяина сваливал недуг; окна сверкали огнями, даже когда он лежал на смертном одре. Хоть и лорды, как готовно растворялись они в безвестности вместе с каменщиками, вместе с кротоловами. Безвестные герои, забытые зиждители – так взывал он к ним с жаром, который рьяно отрицали иные критики, приписывавшие ему холодность, вялость, безразличие (по правде говоря, качество вообще нередко прячется по другую сторону стены, возле которой мы его разыскиваем), так обращался он к своему дому и роду с прочувствованной речью; но, когда дошло до заключения, – какая же речь без заключения? – он запнулся. Он хотел было пышно заключить в таком духе, что вот, мол, он пойдет по их стопам, добавит еще камешек к сооружению. Но поскольку сооружение и так покрывало девять акров, даже и единственный добавленный камешек был бы, пожалуй, излишеством. Не упомянуть ли в заключение о мебели? О стульях и столах, о ковриках возле кроватей? Да, в заключение следовало упомянуть именно о том, чего дому не хватает. И, оставя речь покуда неоконченной, он снова зашагал вниз, решив отныне посвятить себя усовершенствованию интерьера. Известие о том, что она должна немедля ему споспешествовать, вызвало у доброй старой миссис Гримздитч (да, она успела состариться) слезы на глазах.

У лошадки – вешалки для полотенец в спальне короля («еще доброго короля Якова,

милорд», – сказала миссис Гримздитч, намекая на то, что много воды утекло с тех пор, как королевская особа вообще почивала под этим кровом; но дни проклятого Парламента миновали, теперь в Англии, слава Богу, опять Корона¹⁸) недоставало ножки; не было скамеек под кувшины в покойчике, прилегающем к гостиной пажа герцогини; мистер Грин изгадил ковер этой своей пакостной трубкой, уж они с Джуди скоблили-скоблили, пятно так и не отстало. Одним словом, когда Орlando прикинул, как обставить креслами розового дерева, шкафчиками кедрового дерева, серебряными кувшинами, фарфоровыми тазами и персидскими коврами все имевшиеся в замке триста шестьдесят пять спален, он понял, что это ему обойдется недешево и, если еще останется несколько тысяч фунтов от его состояния, их едва достанет на то, чтобы увешать коврами несколько галерей, снабдить столовую залу резными стульями и поместить зеркала кованого серебра и стулья того же металла (к которому он питал неумную страсть) в королевские опочивальни.

И он засел за скрупулезный труд, в чем мы, без сомнения, убедимся, просмотрев его амбарные книги. Заглянем в перечень тогдашних его покупок, с расходами, столбиком подсчитанными на полях, – но их мы опускаем.

За пятьдесят пар испанских покрывал и столько же занавесей алой и белой тафты; к ним же воланы алого и белого атласа, шитого алым и белым шелком...

За семьдесят кресел желтого атласа, и шестьдесят стульев, им соответственных, и столько же чехлов...

За шестьдесят семь столов орехового дерева...

За семнадцать дюжин ящичков, по пять дюжин бокалов венецианского стекла в каждой дюжине...

За сто две ковровые дорожки, длиною тридцать ярдов каждая...

За девяносто семь подушечек алого дамаста, шитого бланжевыми шелковыми галунами, и к ним столько же обитых тисненым шелком скамеечек для ног и стульев соответственно...

За пятьдесят канделябров, под дюжину свеч каждый...

Но вот – так список действует на нас – вот мы уже и зеваем. Однако мы прекращаем этот перечень только потому, что нам скучно, а не потому, что он исчерпан. Далее следуют еще двадцать девять страниц, и общая сумма составляет много тысяч фунтов, т. е. миллионов фунтов на наши деньги. И, проведя таким образом день, вечером лорд Орlando снова подсчитал, во что ему встанет нагородить тысячу огородов, если платить работникам по десять пенсов в час, и сколько центнеров гвоздей по пять с половиной пенсов за пинту уйдет на починку ограды парка в пятнадцать миль окружностью. И так далее и тому подобное.

Рассказ наш, пожалуй, и скучноват, ведь один ларец не ахти как отличается от прочих и один огород, пожалуй, мало отличим от тысячи. Но ради них он совершал увлекательнейшие путешествия, попадал в удивительные истории. Например, когда он засадил целый городок слепых женщин близ Брюгге сшивать балдахин для серебряного ложа; а уж история с венецианским мавром, у которого он купил (но только силою оружия) полированный ларец, – та в других руках бесспорно показалась бы достойной изложения. Ну и его предприятиям было тоже не занимать разнообразия: например, из Сассекса вывозили партиями гигантские деревья, распиливали вдоль и таким паркетом выкладывали галереи; или, скажем, прибывал из Персии огромный, шерстью и опилками набитый ящик, и в конце концов из него извлекалась одна-единственная тарелка, один-единственный перстень с топазом.

Но вот на галереях уже не осталось места ни для единого стола; на столах не осталось места ни для единого ларца; в ларцах не осталось места ни для единой вазочки; в вазочках не осталось места ни для единой горстки засушенных розовых лепестков – нигде ни для чего решительно не осталось места, – короче говоря, дом был обставлен. В саду подснежники,

крокусы, гиацинты, магнолии, розы, лилии, астры, далии всех разновидностей, яблони, груши, вишни, фиги и финики, вкупе со множеством редких и цветущих кустарников, вечнозеленых и многолетних, росли так тесно, так впритык, что яблоку негде было упасть меж их корнями и ни пяди дерна не оставалось без их тени. Вдобавок Орlando вывез из дальних стран дичь с ярким оперением и двух малайских медведей, скрывавших, он не сомневался, под грубостью повадки верные сердца.

Теперь все было готово; и вечерами, когда горели несчетные серебряные светильники и ветерок, вечно слонявшийся по галереям, заигрывал с зелено-синими шпалерами, пуская вскачь охотничьих коней и обращая в бегство дафн; когда серебро сияло, лак мерцал и пылало дерево; когда гостеприимно распростирали ручки резные кресла и дельфины, неся на спинах русалок, поплыли по стенам; когда все это и многое другое было готово и пришлось ему по сердцу, Орlando, обходя замок в сопровождении своих борзых, испытывал удовлетворение. Настало время, думал он, закончить ту торжественную речь. Или, пожалуй, даже лучше начать ее сначала. И все же, проходя по галереям, он чувствовал, что что-то тут не то. Столы и стулья, пусть золоченые, резные, диваны, покоящиеся на львиных лапах и лебяжьих шеях, перины, пусть и нежнейшего гагачьего пуха, – это, оказывается, не все. Люди, сидящие на них, люди, на них лежащие, поразительным образом их совершенствуют. И вот Орlando стал задавать блистательные праздники для вельмож и помещиков округи. Все триста шестьдесят пять спален не пустовали месяцами. Гости толклись на пятидесяти двух лестницах. Триста лакеев сбивались с ног. Пиры бывали чуть не каждый вечер. И – всего через несколько лет – Орlando порядком поиздержался и растратил половину своего состояния, зато стяжал себе добрую славу среди соседей, занимал в графстве с десятков должностей и ежегодно получал от благородных поэтов дюжину томов, подносимых его светлости с пышными дарственными надписями. Ибо, хоть он и старался избегать сообщения с писателями и сторониться дам чужеродного происхождения, он был безмерно щедр и к женщинам и к поэтам и те обожали его.

Но в разгаре пира, когда гости веселились без оглядки, он, бывало, тихонько удалялся в свой кабинет. Там, прикрыв за собою дверь и убедившись, что никто ему не помешает, он извлекал старую тетрадь, сшитую шелком, похищенным из материнской коробки с рукоделием, и озаглавленную круглым школярским почерком: «Дуб. Поэма». И писал до тех пор, покуда часы не пробьют полночь, и еще долго после. Но из-за того, что он вымарывал столько же, сколько вписывал стихов, нередко обнаруживалось, что к концу года их стало меньше, нежели в начале, и впору было опасаться, что в результате писания поэма станет вовсе ненаписанной. Историк литературы, конечно, предстоит отметить разительные перемены в его стиле. Цветистость вылиняла; буйство обуздилось; век прозы остудил горячий источник. Самый пейзаж за окном уже не так был кучеряв; шиповник и тот стал менее петлист и колок. Верно, и чувства притупились, мед и сливки уже меньше тешили нёбо. Ну а то, что очистка улиц и лучшее освещение домов отдаются в стиле, – азбучная истина.

Как-то он с великими трудами вписывал несколько строк в свою поэму «Дуб», когда какая-то тень скользнула по краю его зрения. Скоро он убедился, что это не тень, а фигура весьма высокой дамы в капюшоне и мантилье пересекала внутренний дворик, на который глядело его окно. Дворик был укромный, дамы он не знал и удивился, как она сюда попала. Три дня спустя видение опять явилось и в среду в полдень пришло опять. На сей раз Орlando решился за ней последовать, она же, кажется, ничуть не испугалась разоблачения, а, напротив, когда он ее нагнал, замедлила шаг, обернулась и посмотрела прямо ему в лицо. Всякая другая женщина, застигнутая таким образом в личном дворике его светлости, конечно бы смутилась; всякая другая женщина, с таким лицом, капюшоном и видом, на ее месте бы поскорей упряталась в свою мантилью. Но эта дама более всего напоминала зайца – зайца испуганного, но дерзкого; зайца, в котором робость борется с немислимой, дурацкой отвагой: заяц сидит торчком и пожирает преследователя огромными, выкаченными глазами, и настороженные ушки дрожат, и трепещет вытянутый нос. Заяц, однако, был чуть не шести

футов, да еще этот допотопный капюшон прибавлял ей росту. И она смотрела на Орландо неотрывным взглядом, в котором робость и отвага удивительнейшим образом сливались воедино.

Потом она попросила его, с вполне уместным, но несколько неловким реверансом, простить ее вторжение. Затем, снова вытянувшись во весь свой рост – нет, в ней было больше шести футов, – она с таким кудахтаньем, с такими хихи-хаха, что Орландо подумал, не сбежала ли она из дома для умалишенных, сообщила, что она эрцгерцогиня Гарриет Гризельда из Финстер-Аархорна-Скокоф-Бума, что в румынских землях. Ее заветная мечта – свести с ним знакомство. Она сняла квартиру над булочной у Парк-гейт. Она видела его портрет: это вылитая ее сестра, которой – тут она прямо-таки зашлась хохотом – уж много лет как нет в живых. Она гостит при английском дворе. Королева ей кузина. Король – дивный малый, но редко когда трезвый ложится спать. Тут снова пошли хихи-хаха. Короче говоря, ничего не оставалось, как только пригласить ее войти и угостить вином.

В комнатах ее повадки обрели надменность, естественную для румынской эрцгерцогини; и, если бы не редкие для дамы познания в винах и не здравые суждения об оружии и обычаях охотников ее страны, беседа была бы, пожалуй, натянутой. Наконец, вскочив со стула, она объявила, что навестит его завтра, отвесила новый щедрый реверанс и удалилась. На другой день Орландо ускакал верхом. На следующий поворотил ей спину; на третий задернул шторы. На четвертый день шел дождь, и, не желая заставлять даму мокнуть и сам не прочь немного развеяться, он пригласил ее зайти и поинтересовался ее мнением о доспехах одного из своих предков – работа ль это Топпа или Якоби? Сам он склонялся к Топпу. Она придерживалась иного мнения, какого – не так уж важно. Куда важнее для нашей истории, что в доказательство своего суждения о выделке скреп эрцгерцогиня Гарриет взяла золотые поножи и примерила на ноги Орландо.

О том, что он обладал парой прекраснейших ног, на каких когда-нибудь стаивал юный вельможа, – уже упоминалось.

То, как именно закрепила она наколенник, или ее склоненная поза, или долгое затворничество Орландо, или естественное притяжение полов, или бургундское, или огонь в камине – можно винить любое из названных обстоятельств; ведь что-то, разумеется, приходится винить, когда благородный лорд с воспитанием Орландо, принимая у себя в доме даму, которая старше его чуть не вдвое, с лицом в аршин длиной, выкаченным взором и вдобавок нелепо одета в мантилью с капюшоном, – и это в теплое время года! – что-то да приходится винить, когда такой благородный лорд, вдруг обуянный какой-то неудержимой страстью, выскакивает за дверь.

Но что за страсть, позволительно спросить, могла бы это быть? Ответ двулик, как сама Любовь. Ибо Любовь... но оставим Любовь на минутку в покое, а произошло вот что.

Когда эрцгерцогиня Гарриет Гризельда припала к его ноге, Орландо вдруг, непостижимо, услышал в отдалении трепет крыл Любви. Дальний нежный шелест ее плюмажа всколыхнул в нем тысячи воспоминаний: сень струй, нега в снегу, предательство под рев потопа; шорох, однако, близился; Орландо дрожал, краснел и волновался, как, он думал, уж никогда не будет волноваться, и готов был протянуть руки и усадить к себе на плечо птицу красоты; но тут – о ужас! – раскатился мерзкий звук, как будто, кружа над деревом, каркали вороны; и воздух потемнел от жестких черных крыльев; скрежетали голоса; летали клочья соломы, сучья, перья; и на плечо к Орландо плюхнулась самая тяжелая и мерзкая из птиц – стервятник. Тут-то он и бросился за дверь и послал своего лакея проводить эрцгерцогиню Гарриет к ее карете.

Потому что Любовь, к которой мы наконец можем вернуться, имеет два лица: одно белое, другое черное; два тела: одно гладкое, другое волосатое. Она имеет две руки, две ноги, два хвоста – словом, всего по паре и непременно из совершенных противоположностей. В данном случае, любовь Орландо начала свой лет, обратив к нему белое лицо и сверкая гладким, нежным телом. Она близилась, близилась, овеяв его небесным восторгом. Но вдруг (возможно, при виде эрцгерцогини) она шархнулась, резко

повернула и явилась уже в черном, волосатом, гнусном виде; и вовсе не Любовь, не птица рая – стервятник похоти с мерзейшим грубым стуком уселся на его плечо. Вот почему он бежал, вот почему позвал лакея.

Но не так-то просто выгнать эту гарпию. Мало того что эрцгерцогиня и не думала съезжать от булочника, Орландо каждую ночь терзали мерзкие фантомы. И к чему, скажите, обставлять дом серебром и увешивать стены шпалерами, когда в любой момент вымазанная пометом птица может плюхнуться к вам на письменный стол? Она была тут как тут, металась между стульев; он видел, как она нелепо шлепала по галереям. Или тяжело усаживалась на экран камина. Он гнал ее, она являлась опять и стучалась клювом в стекло, пока его не разобьет.

И поняв, что в доме просто невозможно жить и необходимо предпринять какие-то шаги, чтобы безотлагательно положить этому конец, Орландо сделал то, что всякий молодой человек сделал бы на его месте, и попросил короля Карла отправить его послом в Константинополь. Король ходил по Уайтхоллу. С Нелл Гуин под ручку ¹⁹. Она в него кидалась орешками. «Вот жалость, – вздохнула эта влюбленная дама, – такие чудные ноги покидают отечество!» Меж тем Парки были непреклонны; она могла всего лишь послать вслед Орландо воздушный поцелуй.

ГЛАВА 3

Ужасно неудобно и досадно, что именно об этой фазе Орландовой карьеры, когда он играл столь значительную роль в жизни своей страны, мы не располагаем почти никакими сведениями, на которые могли бы опереться. Мы знаем, что должность свою он исправлял на удивление прекрасно – чему порукой герцогский титул и орден Бани. Знаем, что не без его участия состоялись весьма деликатные переговоры короля Карла с турками – о чем свидетельствуют грамоты и протоколы, хранимые в государственных архивах. Но тут грянула революция, пошли эти пожары и так испортили и спутали все прочие бумаги, содержавшие сколько-нибудь достоверные сведения, что того, чем мы располагаем, плачевно мало. Часто важнейшее сообщение темнит обугленная полоса. Часто, когда кажется, вот-вот раскроется тайна, сотню лет томившая историков, и пожалуйста – в манускрипте такая дыра, что хоть палец туда засовывай. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы по жалким обгорелым клочьям воссоединить картину; но нередко нам приходилось кое-что и домыслить, прибегнуть к допущению, а то и пустить в ход фантазию.

День Орландо проходил, надо думать, следующим образом. Около семи часов он вставал от сна и, накинув на себя длинный турецкий халат и закулив манильскую сигару, облакачивался о перила. Так стоял он, отрешенно озирая раскинувшийся внизу город. Купола Айя-Софии и все прочее плыло в утреннем густом тумане; постепенно туман рассеивался, все становилось на якорь; вот река, вот Галатский мост; зеленые тюрбаны безносых и безглазых пилигримов, просящих подаяния; дворняга роется в отбросах; женщины, закутанные в шали; несчетные ослики, конники с длинными шестами. Потом все это оглашалось щелканьем бичей, звоном гонгов, призывами к молитве, хлопаньем хлыстов, громом кованых колес, а спутанный кислый запах ладана, специй и закваски достигал до самой Перы, будто сам шумный, пестрый, дикий народ обдавал ее своим дыханием.

Что может, рассуждал Орландо, озирая уже блистающий на солнце вид, что может разительнее отличаться от Кента и Суррея, от Лондона и Танбридж-Уэлса ²⁰? Справа и слева негостеприимно высились голые каменистые громады азиатских гор, то тут то там лепился к ним унылый замок разбойничьего главаря; но нигде – ни пасторской усадьбы, ни помещичьего дома, ни хижины, ни дуба, вяза, фиалки, дикого шиповника, плюща. Ни тебе живой изгороди, чтобы было где расти папоротнику, ни лужайки, чтобы пастись овце. Дома

сплошь белые и голые – как яичная скорлупка. И то, что он, англичанин до мозга костей, мог так безудержно упиваться этим диким видом, смотреть и смотреть на эти тропы и дальние вершины, затевая одинокие пешие вылазки, куда не ступала ни одна нога, кроме пастушьей и козьей; мог так нежно любоваться цветами, пренебрегавшими сезоном; любить грязную дворнягу больше даже, чем своих борзых; так жадно ловить ноздрями едкий, жесткий запах этих улиц, – самого его удивляло. Уж не согрешил ли кто из предков-крестоносцев с простой черкешенкой, рассуждал он, – находил это вероятным, усматривал в своей коже некоторую смугловатость и, вернувшись в комнаты, удалялся в ванну.

Час спустя, надушенный, завитой и умащенный, он принимал секретарей и прочих высокочинных лиц, один за другим вносивших красные ларцы, послушные лишь его золотому ключику. В них содержались сверхважные бумаги, от которых ныне сохранились лишь обрывки – где росчерк, где печать, твердо вклеенная в лоскут обгорелого шелка. Так что о содержании их мы судить не можем, свидетельствуем только, что всеми этими печатями и сургучом, цветными ленточками, прикрепляемыми там и сям, как должно, выписыванием титулов, круглением заглавных литер, взмахами росчерков Орландо занимался до времени роскошного обеда, блюд приблизительно из тридцати.

После обеда лакеи возвещали, что карета цугом подана к подъезду, и Орландо, предшествуемый лиловыми янычарами, на бегу обмахивающимися исполинскими веерами из страусовых перьев, отправлялся с визитами к другим послам и важным лицам государства. Церемония неукоснительно повторялась. Добежав до нужного двора, янычары стучали веерами по главным воротам, и те немедля распаивались, обнаруживая великолепную залу. Там сидели две фигуры, обыкновенно мужчина и женщина. Происходил обмен глубокими поклонами и реверансами. В первой зале допускался разговор лишь о погоде. Заметив, что нынче дождливо либо ясно, холодно либо жарко, посланник переходил в следующую залу, где снова ему навстречу вставали две фигуры. Здесь полагалось сопоставить, как место обитания, Константинополь с Лондоном; посланник говорил, естественно, что он предпочитает Константинополь, тогда как хозяева его, естественно, предпочитали Лондон, хоть им и не случалось там бывать. В следующей зале подобало несколько распространиться о здоровье короля Карла и султана. В следующей обсуждалось здоровье посла и жены хозяина, но уже в меньших подробностях. В следующей посол восхищался хозяйской мебелью, хозяин же воспевал наряд посланника. В следующей подавались сладости, и хозяин сетовал на их несовершенство – посол их превозносил. В конце концов в завершение церемонии раскуривался кальян и выпивалась чашечка кофе; но, хотя жесты, свойственные курению и питью, воспроизводились со всею точностью, в трубке не было табака, как не было и кофе в чашке, ибо, не будь соблюдены эти предосторожности, никакой бы организм не выдержал таких излишеств. Ведь, не успевал он откланяться в одном месте, посол отправлялся в другое, церемония повторялась в таком же точно порядке у семи или восьми других важных особ, и нередко только поздно вечером добирался он до дому. Хотя Орландо исправлял эти обязанности дивно и не мог отрицать, что они, пожалуй, составляют важнейшую часть дипломатической службы, они его, бесспорно, утомляли, а порой наводили на него такую тоску, что он предпочитал ограничиться обществом своих борзых. С ними, слуги слышали, он разговаривал на своем родном языке. А иной раз, говорят, он поздно ночью выходил из собственных ворот в таком камуфляже, что часовые его не узнавали. И смешивался с толпой на Галатском мосту, или слонялся по базарам, или, сбросив обувь, присоединялся к молещикам в мечети. Однажды, когда он сказался больным и даже в лихорадке, пастухи, гнавшие на рынок своих козлов, рассказывали, что видели на вершине горы английского лорда и слышали, как он молился своему Богу. Было решено, что это сам Орландо, молитва же его была не что иное, как декламация собственных стихов, поскольку известно было, что он все носит на груди толстый манускрипт; и слуги, подслушивавшие у двери, слышали, что он что-то бормочет нараспев, когда останется один.

Вот по таким-то клочкам приходится нам воссоздавать картину жизни и облик Орландо того времени. Еще и посейчас имеют хождение слухи, легенды, анекдоты зыбкого и

недостовверного свойства о жизни его в Константинополе (из них мы привели лишь немногие), призванные доказать, что тогда, во цвете лет, он обладал той властью зажигать воображение и приковывать взоры, которая живет воспоминания долго еще после того, как их бессильны удержать средства более вещественные. Власть эта – таинственная власть, и зиждется она на блеске красоты, великолепии имени и редком, неизъяснимом даре, который мы назовем, пожалуй, обаянием и на этом успокоимся. «Миллионы свечек», как говорила Саша, горели в нем, хоть ни единой он не давал себе труда зажечь. Ступал он, как олень, ничуть не беспокоясь о своей походке. Он разговаривал самым обычным голосом, а эхо отзывалось серебряным гонгом. И слухи его окутывали. Он превратился в предмет обожания многих женщин и некоторых мужчин. Они вовсе не стремились с ним беседовать, ни даже его видеть, достаточно бывало вызвать перед своим внутренним взором – особенно когда вокруг красиво, когда закат – образ безукоризненного джентльмена в шелковых чулках. Его власть распространялась на бедных и необразованных в точности, как и на богатых. Пастухи, цыгане, погонщики ослов и поныне распевают песенку про английского лорда, «кинувшего смарагд в поток», повествующую, несомненно, об Орландо, который как-то в минуту ярости, а не то под влиянием винных паров сорвал с себя ожерелье и швырнул в фонтан, откуда его и выудил паж. Но власть эта, как хорошо известно, часто сопряжена с предельной замкнутостью характера. У Орландо, пожалуй, не было друзей. Не замечено ни одной его связи. Некая благородная дама проделала весь долгий путь из Англии только для того, чтобы быть к нему поближе, и докучала ему своим вниманием, а он тем временем продолжал столь неустанно исполнять свои обязанности, что и двух с половиной лет не прослужил послом на мысе Горн, как король Карл уже объявил о своем намерении пожаловать ему высочайший титул во дворянстве. Завистники твердили, что это дань Нелл Гуин воспоминанию о неких ножках. Но поскольку она видела его лишь однажды, притом когда была поглощена швырянием ореховых скорлупок в царственного патрона, можно полагать, что герцогством он был обязан своим заслугам, а вовсе не икрам.

Здесь нам придется несколько отвлечься: мы подходим к значительнейшему моменту в его судьбе. Ибо пожалование герцогства послужило поводом для весьма знаменательного и окруженного толками и пересудами события, каковое мы сейчас и попытаемся описать, пробираясь по обгорелым строкам и обрывкам документов. Герцогскую грамоту и орден Бани доставил на своем фрегате сэр Адриан Скроуп в конце Рамазанского поста; и Орландо по этому случаю устроил торжества, каких ни прежде, ни потом не видывал Константинополь. Ночь выдалась погожая; толпа была безбрежна; окна посольства ярко озарены. Опять, конечно, нам недостает подробностей: огонь, как водится, погулял по бумагам и, муча нас дразнящими намеками, главное затемнил. Однако из дневника Джона Феннера Бригге, английского морского офицера, бывшего в числе гостей, мы узнаем, что люди всех национальностей «теснились во дворе, как сельди в бочке». Толпа так неприятно напирала, что Бригге скоро предпочел залезть на иудино дерево и оттуда наблюдать происходящее. Среди туземцев распространился слух (еще одно свидетельство таинственной власти Орландо над умами), что вот-вот будет явлено чудо. «И потому, – пишет Бригге (но рукопись его так пестрит пятнами и дырами, что иные фразы совершенно невозможно разобрать), – когда начали взмывать ракеты, мы не на шутку опасались, как бы туземцы... чреватые для всех пренеприятными следствиями... имея среди нас английских дам... рука моя, признаюсь, не раз тянулась к сабле. К счастью, – продолжает он в своем несколько тягучем стиле, – опасения эти оказались напрасны, и, наблюдая поведение туземцев... я пришел к заключению, что искусство наше в пиротехнике... мы оказали благотворное действие... превосходство британцев... Зрелище было поистине неопишное. Я попеременно то возносил хвалы Господу за то, что он даровал... то жалел, что моя бедная матушка... По приказанию Посла высокие окна, являющие черту столь выразительную архитектуры восточной, что... распахнулись, и нашим взорам представились живые картины или, скорее, театральное действо, в котором английские дамы и господа... маскарад... Слов было не разобрать, но зрелище столь многих соотечественников и соотечественниц наших,

одетых с таким вкусом и тщанием... так тронули мое сердце, вызвав в нем столь... чувства, каких я, разумеется, не стыжусь, но, однако же, не в силах... Я был отвлечен весьма странным поведением леди, способным привлечь к себе всеобщее внимание и навлечь позор на отечество ее и пол, когда...» Но тут, увы, ветка иудиного дерева подломилась, лейтенант Бригге рухнул на землю, и продолжение записи посвящено исключительно его благодарностям Провидению (вообще играющему в дневнике значительную роль) и подробному отчету о полученных ранах.

К счастью, мисс Пенелопа Хартоп, дочь генерала той же фамилии, видела всю сцену изнутри и подхватывает ее описание в письме, тоже сильно поврежденном и в конце концов дошедшем до подруги в Танбридж-Уэлсе. Мисс Пенелопа не менее щедра на выражения восторга, чем доблестный воин. «Восхитительно, – восклицает она по десять раз на странице, – дивно... совершенно невозможно передать... золотые блюда... канделябры... негры в бархатных штанах... горы мороженого... фонтаны глинтвейна... пирожные в виде судов Его Величества... лебеди в виде речных лилий... птички в золотых клетках... мужчины в алых бархатных штанах с пластронами... прически дам не меньше шести футов высотой... музыкальные шкатулки... Мистер Перегрин сказал, что я выгляжу очаровательно, передаю это тебе, мой милый друг, лишь оттого, что уверена... О! Как мне вас всех не доставало!...превосходит все, что видывали мы на Пантилах ²¹... вино лилось рекой... иные господа, быть может, несколько и злоупотребили... Леди Бетти восхитительно... Бедняжка леди Бонем совершила пренеприятную оплошность, сев мимо стула. Мужчины все очень любезно... Но все глаза были прикованы... отрада взоров... все единодушны, ибо ни у кого бы не достало низости опровергать... был сам Посол. Какие ноги! Осанка!! Царственность манер!!! Как он входил! Как выходил! И эта интересность в лице... сразу чувствуешь, сама не знаешь отчего, что ему пришлось страдать! Говорят, причиной послужила дама. Бессердечное чудовище! Как! У представительницы нашего заведомо нежного пола – и такая жестокость!... Он не женат, и половина здешних дам сходят по нему с ума... Тысячи, тысячи поцелуев Тому, Джери, Питеру и милой Мяу (предположительно, ее кошечке)».

Из газеты того времени мы узнаем, что «едва часы пробили полночь, Посол вышел на главный балкон, увешанный бесценными коврами. Шестеро турок из числа телохранителей Султана, каждый более шести футов росту, держали справа и слева от него зажженные факелы. При появлении его взвились ракеты и громкие возгласы поднялись над толпой. Посол ответил глубоким поклоном и произнес несколько благодарственных слов по-турецки, ибо ко всем совершенствам своим владеет и беглой турецкой речью. Затем сэр Адриан Скруп, в адмиральской парадной форме, приблизился к Послу; Посол преклонил колени; адмирал надел высокий орден Бани ему на шею и прикрепил на грудь ему звезду, после чего другой господин из дипломатического корпуса, приблизившись церемониальным шагом, облачил его в герцогскую мантию и протянул ему на алой подушечке герцогскую корону».

В конце концов, с несравненным величием и вместе грацией, сначала склоняясь в глубоком поклоне, а затем гордо распрямившись, Орlando принял золотую диадему из клубничных листьев и жестом, которого ни один из его видевших вовеки не забыл, поместил ее себе на лоб. Вот тут и началось. То ли народ ожидал чуда – как утверждают иные, было предсказано, что золотой дождь хлынет с неба, а дождя не было никакого, – то ли начало атаки было заранее приурочено к этому мигу – все так и остается невыясненным; но, едва Орlando водрузил себе на голову корону, поднялся страшный шум. Звонили колокола; надсаженные голоса пророков перекрывали выкрики толпы; турки попадали на колени и бились об землю лбами. Дверь распахнулась. Туземцы хлынули в пиршественные залы. Дамы визжали. Одна из них, якобы умиравшая от любви к Орlando,хватила об пол канделябром. Неизвестно, чем бы все обернулось, не будь поблизости адмирала Скроупа и отряда британских матросов. Адмирал приказал трубить в трубы, сотня британских матросов

стала по стойке «смирно»; беспорядок, таким образом, был пресечен, и по крайней мере на некоторое время воцарилось спокойствие.

До сих пор мы стояли на твердой, пусть и узкой почве выверенных фактов. Но никто и никогда так в точности и не узнал, что же случилось далее той ночью. Если верить свидетельству часовых и еще кое-кого, посольство освободилось от посетителей и было заперто на ночь, как обычно, в два часа пополудни. Видели, как посол прошел к себе в спальню, все еще во всех регалиях, и затворил за собою дверь. Иные говорили – он ее запер, что было против его обычая. Кое-кто уверяет, будто слышал музыку, нехитрую, вроде пастушеской волынки, еще позже во дворе под его окном. Судомойка, которая лишилась сна из-за зубной боли, утверждала, что видела, как мужчина в плаще, не то в халате вышел на балкон. Потом, сообщила она, женщина, вся закутанная, но все равно видно, что из простых, залезла на тот балкон по веревке, которую ей бросил тот мужчина. Тут, сообщила судомойка, они обнялись страстно, «ну прямо как любовники», вместе вошли в спальню, задернули шторы, и дальнейшее наблюдение стало невозможным.

На утро секретари обнаружили герцога, как мы теперь должны его именовать, в глубоком сне на весьма измятых простынях. В спальне наблюдался известный беспорядок: корона на полу; мантия, орден Подвязки и прочее – все кучей свалено на стуле; стол загроможден бумагами. Сначала все это не вызывало подозрений, будучи приписываемо изнурительным трудам прошедшей ночи. Но когда настал вечер, а герцог все не просыпался, послали за доктором. Тот прописал те же средства, что и в прошлый раз, – компрессы, крапиву, рвотное и так далее, – безрезультатно. Орландо спал. Тогда секретари сочли своим долгом заняться бумагами на столе. Многие листы были исписаны стихами, в которых то и дело упоминался дуб. Были тут и государственные документы, и кое-какие распоряжения личного свойства, касательно его имущества в Англии. Но в конце концов напали на куда более важный документ. То был не больше и не меньше, как выписанный по всем правилам брачный контракт между его сиятельством Орландо, кавалером ордена Подвязки и прочая, и прочая, и Розиной Пепитой, танцовщицей, отец неизвестен, предположительно цыган, мать тоже неизвестна, предположительно торговка железным ломом на рынке подле Галатского моста. Секретари в смятении смотрели друг на друга. Орландо же все спал. За ним установили наблюдение с утра до вечера, но, не считая того, что на щеках его, как всегда, играл нежный румянец и дышал он ровно, он не выказывал никаких признаков жизни. Делалось все, что могут предложить наука и изобретательность. Он спал.

На седьмой день этого забвения (в четверг, десятого мая) раздался первый выстрел того ужасного, кровавого мятежа, первые признаки которого угадывал лейтенант Бригге. Турки восстали против султана, подожгли город, а всех иностранцев, каких могли обнаружить, пронзали саблями или побивали палками. Кое-кто из англичан сумел спастись бегством; но господ из Британского посольства, как и следовало ожидать, предпочитали умереть, защищая свои красные ларцы, и даже в иных случаях глотать связки ключей, нежели отдать их в руки поганых. Бунтовщики ворвались в спальню Орландо, увидели недвижно распростертое тело и, сочтя его мертвым, оставили лежать, прихватив корону и орден Подвязки.

И тут опять все завлакивается тьмой. Но лучше бы ей быть еще гуще! Лучше бы – так и хочется крикнуть – она до того сгустилась, чтоб мы ничего решительно не могли в ней разглядеть! А только взять перо и начертать – «Конец»! Избавить читателя от дальнейшего и просто сказать: Орландо, мол, умер и похоронен. Но – увы! – Правда, Искренность и Честность, суровые богини, неусыпно стерегущие чернильницу биографа, восклицают: «Нет! Никогда!» Приложив к устам серебряные трубы, они единым духом трубят: «Правду!» И опять: «Только Правду!» – и в третий раз, дружно: «Правду! Ничего, кроме Правды!»

После чего – и слава Богу, мы хоть успеем передохнуть! – тихо отворяются двери, словно раздвинутые нежнейшим дуновением зефира, и входят три фигуры. Первой входит Пресвятая Дева Чистота; чело ее увито шерстью белоснежных агнцев, волосы – как лавина свежавыпавшего снега, в руке – белое перо гусыни-девственницы. За нею следом, но более

державной поступью входит Пресвятая Дева Невинность; на челе ее неопалимой купиной горит диадема из драгоценных льдышек, глаза – как две звезды, а пальцы, если вас коснутся, – прожгут вас холодом насквозь. Рядом, как бы ища защиты в ее державной тени, ступает Пресвятая Дева Скромность, самая нежная и прекрасная из сестер; она едва показывает свое лицо – так юный месяц кажет из-за туч свой робкий серпик. Каждая выходит на середину комнаты, где все еще лежит спящий Орландо, и, моля и вместе повелевая, первой держит речь Пресвятая Дева Чистота:

– Я стерегу сон фавна; мне дорог снег, и восходящая луна, серебряное море. Под моим покровом я прячу крапчатые яйца кур, пятнистые ракушки моря; я прячу порок и нищету. На все, что ломко, зыбко и непрочно, я опускаю мой покров. А потому – не говори, не надо. Избави нас! Избави!

Тут трубы трубят:

– Изыди, Чистота! Долой!

И тогда говорит Пресвятая Дева Невинность:

– Я та, чье касание леденит, чей взор все обращает в камень. Я останавливаю танцы звезд, смиряю падение волны. Мое пристанище – далекие вершины Альп. И молнии в моих сверкают волосах. На что бы ни упал мой взор – он убивает, убивает. Нет, чем будить Орландо – я бы лучше заморозила его насмерть! Избави нас! Избави!

И снова трубят трубы:

– Изыди, Невинность! Долой!

И тогда говорит Пресвятая Дева Скромность, так тихо, что слова ее едва слышны:

– Я та, кого люди зовут Скромностью. Я дева и вечно пребуду девой. Не для меня – богатые дары полей и плодоносность вертограда. Мне чуждо всякое произрастание; едва нальются яблоки, стада плодятся – я убегаю, убегаю. Окутавшись плащом. Волосы мои скрывают мое лицо. Я ничего не вижу. Избави нас! Избави!

И снова – трубы:

– Изыди, Скромность! Долой!

Уныло, обреченно сестры берутся за руки, танцуют, и в медленном веянье своих вуалей они поют:

– Не выходи, о Правда, из своего ужасного логова. Спрячься подальше, страшная Правда! Ты подставляешь грубым лучам солнца такое, что лучше оставлять сокрытым, несодеянным; ты обнажаешь стыдное, высветляешь темное. Прячься, прячься, прячься!

И они хотят окутать Орландо своими покрывалами. Не тут-то было, трубы, знай, трубят свое:

– Правда, только Правда, ничего, кроме Правды!

Сестры пытаются заткнуть свои вуали в жерла труб, заглушить их. Какое! Трубы гремят все вместе:

– Мерзкие сестры! Уходите!

Сестры теряются, плачут хором, снова кружат, помавая вуалями – вверх-вниз.

– Раньше то ли было! Но мужчины больше нас не жалуют. Женщины нас ненавидят. Мы уходим, уходим. Я (это Чистота говорит) – на куриный насест. А я (это Невинность) – к еще не поруганным Суррейским высотам. Я (это Скромность) – в любой уютный уголок, где много покрывал. Ибо там, не здесь (это они говорят хором, взявшись за руки и кивая в знак отчаяния и прощания постели со спящим Орландо), все еще обитают – в гнездах и в будуарах, в канцеляриях и в залах суда – те, кто нас любит, те, кто нас чтит; девственницы и деловые люди, законники и доктора; те, кто запрещает, кто опровергает, не признает; кто чтит, не зная почему, кто поклоняется, не понимая; все еще многочисленное (слава Небесам) племя достопочтенных – тех, кто предпочитает не видеть, не хочет знать, любит темноту, они-то все еще нас чтут, и не без причины: мы и даем им Богатство, Процветание, Довольство и Покой. К ним мы уходим, тебя мы покидаем. Идемте, Сестры! Здесь нам не место!

Они поспешно удаляются, помавая вуалями, как бы отгоняя что-то, на что они боятся

взглянуть, и прикрывают за собою дверь.

А мы остаемся в спальне, совершенно одни со спящим Орландо и трубачами. Трубачи, выстроившись в ряд, надсаживаются: – Правду!

И тут Орландо проснулся. Потянулся. Встал. Он стоял, вытянувшись перед нами, совершенно голый, и, поскольку трубы трубят: «Правду! Правду! Правду!» – у нас нет иного выбора, кроме как признаться – он стал женщиной.

Звук труб замер, а Орландо стоял в спальне совершенно голый. Никогда еще от сотворения мира ни одно человеческое существо не выглядело пленительней. Мужская крепость сочеталась с женским очарованием. Серебряные трубы дили свою ноту, не в силах расстаться с дивным видом, ими же вызванным на свет; а Невинность, Чистота и Скромность, подстрекаемые, без сомнения, Любопытством, заглянули в дверь, попытались накинуть какую-то тунику на эту наготу, но туника, увы, не долетела. Орландо окинул взглядом свое отражение в высоком зеркале и, не выказав никаких признаков растерянности, вышел, вероятно в ванную.

Мы можем воспользоваться паузой в нашем повествовании и сделать несколько сообщений. Орландо стал женщиной – это невозможно отрицать. Но во всем остальном никаких решительно перемен в Орландо не произошло. Перемена пола, изменив судьбу, ничуть не изменила личности. Лицо, как свидетельствуют портреты, в сущности, осталось прежним. В его памяти – но в дальнейшем мы, условности ради, должны говорить «ее» вместо «его» и «она» вместо «он», – итак, значит, в ее памяти прошли все события прошедшей жизни, ничуть не натываясь на препятствия. Легкая нечеткость была, конечно, как будто несколько темных пятен упали в прозрачный пруд памяти; иные вещи чуть-чуть замутились, но и только. Перемена совершилась, кажется, безболезненная, полная, да так, что сама Орландо ничуть не удивилась. Многие, исходя из этого и заключая, что такая перемена пола противоестественна, изо всех сил старались доказать, что 1) Орландо всегда была женщиной и 2) Орландо и сейчас еще остается мужчиной. Это уж решать биологам и психологам. Наше дело – установить факт: Орландо был мужчиной до тридцати лет, после чего он стал женщиной, каковой и пребывает.

Но пусть о сексе рассуждают другие; мы спешим расстаться с этой неприличной темой. Орландо помылась, облачилась в турецкий кафтан и шальвары, равно носимые мужчинами и женщинами, и вынуждена была призадуматься о своем положении. Всякий читатель, с участием следивший за ее историей, тотчас же поймет, сколь оно было двусмысленно и опасно. Молодая, красивая, знатная, она, проснувшись, оказалась в таком положении, что более щекотливого для юной светской дамы и представить себе невозможно. Мы бы ничуть ее не осудили, если бы она схватилась за колокольчик, завизжала или упала в обморок. Но никаких таких признаков смутения Орландо не выказывала. Все ее действия были чрезвычайно обдуманно, точны, будто выверены заранее. Первым делом она тщательно просмотрела бумаги на столе, взяла те, которые были исписаны стихотворными строками, и спрятала за пазуху; далее кликнула верного салюки, все эти дни не покидавшего ее постели, хоть он чуть не умер от голода, накормила его и расчесала; потом сунула за пояс пару пистолетов и, наконец, намотала на себя несколько низок отборнейших изумрудов и окатных жемчугов, составлявших неременную часть посланнического гардероба. Сделав все это, она высунулась из окна, тихонько свистнула и спустилась по расшатанным ступеням, обгаренным кровью и Усеянными бумагами, грамотами, договорами, печатями, сургучом и прочим, и вышла во двор. Там, в тени огромной смоковницы, ожидал ее старик Цыган на осле. Другого держал он под уздцы. Орландо занесла на него ногу. Так, сопровождаемый отошальым псом, в обществе цыгана, посол Великобритании при дворе султана покидал Константинополь.

Они шли несколько дней и ночей, сталкиваясь на своем пути со множеством приключений то по воле людей, то по прихоти природы, и Орландо неизменно выходила из

них с честью. Через неделю достигли они возвышенности близ Бурсы ²², где располагалось главным табором цыганское племя, с которым связала свою судьбу Орландо. Часто смотрела она на эти вершины с балкона своего посольства; часто стремилась туда мечтой; а если вы оказались там, куда давно стремились, это дает пищу для размышлений вашему созерцательному уму. Некоторое время Орландо, правда, так радовалась переменам, что не хотела их портить размышлениями. Не надо было подписывать и припечатывать никаких бумаг, не надо делать никаких росчерков, не надо платить никаких визитов, – кажется, чего же боле? Цыгане шли, как их вела трава: выщиплет ее скот – и они бредут дальше. Орландо мылась в ручьях, когда мылась вообще; никаких ларцов – красных, синих, ни зеленых – ей не приносили; во всем таборе не было ни единого ключа, не говоря уж о золотых ключиках; что же до «визитов» – тут и слова-то такого не знали. Она доила коз, собирала валежник; могла иной раз стянуть куриное яйцо, но неизменно его возмещала монеткой или жемчужиной; она пасла скот, собирала виноград, топтала грозди; наполняла козьи меха вином, из них пила; и, вспомнив, как в эту пору дня она, бывало, с пустою чашкою в руке и с трубкою без табака прикидывалась, будто курит и пьет кофе, она громко хохотала, отламывала себе еще ломоть хлеба и выпрашивала у старого Рустума для затяжки трубку, пускай набитую навозом.

Цыгане, с которыми она, совершенно очевидно, имела тайные сношения еще до революции, считали ее почти своей (а эта самая высокая честь, какую может оказать любой народ), темные же ее волосы и смуглость подкрепляли подозрение, что она и родилась цыганкой, в младенчестве была похищена английским герцогом с орехового дерева и увезена в дикую страну, где люди укрываются в домах, ибо до того больны и слабы, что не выносят свежего воздуха. И потому, хотя во многих отношениях она им была не ровня, они всячески старались поднять ее до себя: учили своим искусствам (варить сыр, плести корзины), своим наукам (красть, улавливать в силки птиц) и даже были, кажется, чуть ли не готовы к браку ее с цыганом.

Но в Англии Орландо понабралась привычек, или болезней (уж как хотите назовите), которые, кажется, было не вытравить ничем. Однажды вечером, когда сидели вокруг костра и закат опалял фессалийские холмы, Орландо воскликнула:

– Как вкусно!

(У цыган нет слова «красиво». Это ближайший синоним.)

Все молодые мужчины и женщины громко расхохотались. Небо – вкусно! Ну каково? Однако люди постарше, понавидавшиеся иностранцев, насторожились. Они и раньше замечали, что Орландо часто сидела часами без дела, только смотрела туда-сюда; они натыкались на нее, когда она стояла на вершине, вперивши взор в одну точку, не замечая, пасутся ли, разбредаются ли ее козы. Старшие мужчины и женщины начали подозревать, что она привержена чужим поверьям и даже, может быть, попала в когти ужаснейшего, коварнейшего божества – Природы. И ведь они не очень ошибались. Английская болезнь – любовь к Природе – досталась ей с молоком матери, и здесь, где Природа была куда щедрей и безоглядней, чем в родном краю, Орландо, как никогда, оказалась в ее власти. Недуг этот слишком хорошо изучен и – увы! – описывался так часто, что нам нет нужды опять его описывать, разве что совсем кратко. Здесь были горы, были доли, ручьи. Она взбиралась на горы, бродила по долам, сидела на берегах ручьев. Горы сравнивала она с бастионами, скаты – с крутыми коровьими боками. Цветы она уподобляла самоцветам; стертым турецким коврам уподобляла дерн. Деревья были у нее – старые ведьмы, серыми валунами были овцы. Словом, все на свете было чем-то еще. Завидя горное озерцо на вершине, она едва удерживалась от того, чтобы не нырнуть за помстившейся ей на дне истиной; а когда в дальней дали за Мраморным морем она видела с горы долины Греции и различала (у нее было замечательное зрение) афинский Акрополь и белые полосы на нем – конечно, Парфенон, – душа ее ширилась, как и взор, и она молилась о том, чтоб причаститься величию гор, познать покой равнин и прочее, и прочее, и прочее, как водится у ее

единоверцев. Потом она опускала глаза, и алый гиацинт, лиловый ирис исторгали у нее крик о благодати, о прелести природы; опять она смотрела вверх и, видя парящего орла, воображала и примеряла на себя его блаженство. На пути домой она здоровалась с каждой звездой, сторожевым огнем и пиком, будто ей одной они указывали путь; и, бросаясь наконец на половик в шатре, она невольно восклицала: «Как вкусно! Как вкусно!» (Любопытно, кстати, что даже когда люди располагают до того несовершенными средствами сообщения, что вынуждены говорить «вкусно» вместо «красиво» и наоборот, они скорее выставят себя на посмешище, чем оставят при себе свои чувства.) Молодежь хохотала. Но Рустум Эль Сади, старик, который вывез Орландо из Константинополя на осле, – Рустум молчал. Нос у Рустума был как ятаган, щеки – будто десятилетиями биты градом; он был темен лицом и зорек, и, посасывая свой кальян, он не отрывал взгляда от Орландо. Он питал глубочайшее подозрение, что ее Бог есть Природа. Однажды он застал Орландо в слезах. Сообразив, что, видно, Бог наказал ее, он объявил, что ничуть не удивлен. Он показал ей свои пальцы на левой руке, отсохшие из-за мороза; он показал свою правую ногу, изувеченную валуном. Вот, сказал он, что ее Бог вытворяет с людьми. Когда она возразила: «Зато как красиво», употребив на сей раз английское слово, Рустум покачал головой, а когда она повторила свое суждение, он рассердился. Он понял, что она верит иначе, чем он, и этого было довольно, чтобы он, как ни был стар и мудр, пришел в негодование.

Эти разногласия огорчили Орландо, которая до тех пор была совершенно счастлива. Она стала раздумывать – прекрасна ли, жестока ли Природа; потом спрашивать себя – что есть красота, заключена ли она в вещах или содержится только в ней самой; далее она перешла к рассуждениям о сущности объективного, что, естественно, повело ее к вопросу об истине, а уж затем к Любви, Дружбе, Поэзии (как дома, на высокой горе, давным-давно), и все эти рассуждения, из которых она ни единого слова не могла никому поведать, заставили ее, как никогда, томиться по перу и чернилам.

– О, если б я могла писать! – восклицала она (по странному самомнению всей пишущей братии веря в доходчивость написанного слова). Чернил у нее не было, и очень мало бумаги. Но она сделала чернила из вина и ягод и, выискивая поля и пробелы в рукописи «Дуба», ухитрялась, пользуясь своего рода стенографическим способом, описывать пейзажи в нескончаемых белых стихах и увековечивать собственные диалоги с собой об Истине и Красоте, довольно, впрочем, выразительные. Это дарило ей целые часы безмятежного счастья. Но цыгане стали настораживаться. Сперва они заметили, что она уже не так проворно доит коз и варит сыр; потом – что она не сразу отвечает на вопросы; а как-то один цыганенок проснулся, перепуганный, под ее взглядом. Иногда все племя, насчитывавшее десятки взрослых мужчин и женщин, испытывало скованность в ее присутствии. Происходило это из-за ощущения (а ощущения их изощрены, не в пример словарю), что все крошится в их руках. Старуха, вязавшая корзину, свежавший овцу мальчик мирно напевали за работой, но тут в табор являлась Орландо, ложилась у костра и начинала пристально смотреть на пламя. Она на них и взгляда не бросала, но они чувствовали, что вот кто-то сомневается (мы делаем лишь грубый, подстрочный перевод с цыганского), что вот кто-то ничего не станет делать просто делания ради; не посмотрит просто так, чтобы смотреть; не верит ни в овечью шкуру, ни в корзину, но видит (тут они опасливо косились на шатер Орландо) что-то еще. И смутное, томящее чувство росло в том мальчике, росло в старухе. Они ломали прутья, ранили себе пальцы. Их распирала ярость. Им хотелось, чтобы Орландо ушла подальше и больше не возвращалась. А ведь она была весела, добра – кто спорит; и за одну-единственную ее жемчужину можно было сторговать лучший козий гурт во всей Бурсе.

Постепенно она начала замечать между собою и цыганами такую разницу, что порой уж даже сомневалась, стоит ли ей выйти за цыгана и навеки среди них обосноваться. Сначала она пыталась объяснить все это тем, что сама она происходит от древнего и культурного народа, тогда как цыгане – люди темные, почти дикари. Как-то вечером, когда они ее расспрашивали про Англию, она не удержалась и стала с гордостью расписывать

замок, где родилась, упомянула и триста шестьдесят пять его спален, и тот факт, что предки им владели уже пять столетий. Предки ее были графы; может быть, добавила она, герцоги даже. Тут снова ей показалось, что цыганам как-то не по себе: они не сердились, нет, как тогда, когда она восхваляла красоты природы. Сейчас они были учтивы, но приуныли, как люди тонкого воспитания, невольно вынудившие незнакомца выдать свое низкое происхождение или нищету. Рустум один вышел за нею из шатра и посоветовал ей не смущаться тем, что отец ее был герцог и владел всеми этими комнатами и мебелью. Никто ее за это не осудит. И тут ее охватил прежде не изведанный стыд. Совершенно очевидно, Рустум и другие цыгане считают род в пять – шесть веков несколько не старинным. Собственные их корни уходят в прошлое по меньшей мере на два-три тысячелетия. В глазах цыгана, чьи праотцы строили пирамиды задолго до Рождества Христова, генеалогия Говардов и Плантагенетов не лучше и не хуже родословной какого-нибудь Джонса или Смита: обе не стоят ни полушки. И если любой подпасок имеет столь древнее происхождение – зачем кичиться древним родом? Каждый нищий и бродяга мог бы козырять тем же. Вдобавок, хоть Рустум из вежливости, конечно, не выражал этого открыто, ясно было, что его покорила вульгарная похвальба сотнями спален (они теперь стояли на вершине холма, была ночь, вокруг высились горы), когда вся земля – наш дом. С точки зрения цыгана, какой-то герцог, поняла Орландо, просто разбойник и нахал, оттяпавший земли и деньги у людей, которые не придавали им цены, и ничего не придумавший остроумней, чем построить триста шестьдесят пять спален, тогда как довольно и одной, а ни одной – и того лучше. Орландо не могла отрицать, что предки ее копили, собирали поле к полю, замок к замку, почесть к почести, отнюдь не будучи при этом ни святыми, ни героями, ни великими благодетелями рода человеческого. Не могла она опровергнуть и тот довод (Рустум, как истинный джентльмен, от него воздерживался, но она же понимала), что каждый, кто сейчас повел бы себя так, как триста – четыреста лет назад поступали ее предки, был бы заклемен, бесспорно (и в первую очередь собственным ее семейством), как выскочка, авантюрист и нувориш.

Она могла бы ответить на эти доводы испытанным, хоть и окольным возражением, что, мол, цыгане сами ведут грубую и варварскую жизнь и за последние времена сами стали хороши. Но не подобные ли споры всегда вели к кровопролитиям и революциям? Еще и не из-за такого крушились города, а миллионы мучеников шли на плаху, лишь бы ни йоты не уступить от отстаиваемых истин. Нет в нашей груди страсти сильнее, чем желание заставить другого думать так же, как думаем мы сами. Ничто так не отравляет счастье, так не приводит в ярость, как сознание, что другой ни в грош не ставит что-то для нас драгоценное. Виги и тори, консерваторы и лейбористы за что и бьются, как не за престиж? Не любовь к истине, но желание настоять на своем поднимает квартал на квартал, заставляет один приход мечтать о гибели другого. Каждый желает одержать верх. Собственное спокойствие, самоутверждение – важнее торжества истины и добродетели... но оставим-ка мы эти прописи историку, ему сподручней ими пользоваться, да и нудны они, кстати, как стоячая вода.

– Триста шестьдесят спален – это им плевать, – вздыхала Орландо.

– Закат дороже ей козьего гурта, – ворчали цыгане.

Орландо не знала, что делать. Уйти от них, снова стать послом? Нет уж, только не это! Но и вечно жить там, где нет ни бумаги, ни чернил, ни почтения к Тюдорам, ни уважения к тремстам спальням – тоже невозможно. Так рассуждала она однажды утром на горе Афон, пася своих коз. И тут Природа, которой она поклонялась, то ли выкинула шутку, то ли сотворила чудо, – опять-таки мнения тут расходятся, так что точно не известно. Орландо довольно безутешно вперила взор в кручу прямо перед собой. Лето было в разгаре; и если чему-то стоило уподоблять этот пейзаж, то уж сухой кости, овечьему скелету, гигантскому черепу, добела вылизанному тысячей шакалов. Жара палила немилосердно, а низкорослой смоковницы, под которой она укрылась, только на то и хватало, чтобы напечатлеть узор своей листвы на легком бурнусе Орландо.

Вдруг какая-то тень, хоть решительно нечему было ее отбрасывать, легла на лысый склон. Она быстро углублялась, и скоро зеленая лощина образовалась там, где только что белела голая скала. Лощина росла, ширилась на глазах у Орландо, и вот уже на склоне раскинулся зеленый парк. В парке мрел и волнился муравчатый луг; там и сям стояли дубы; грачи порхали по ветвям. Она видела, как из тени в тень переступали чинные олени, она слышала, как жужжал, гудел, журчал, плескался и вздыхал английский летний день. Она смотрела, зачарованная, и вот начал падать снег, и все, что только что было обтянуто желтым солнечным блеском, оделось в фиолетовые тени. Тяжелые телеги катили по дорогам, груженные бревнами, которые, она знала, распилят на топку; вот проступили крыши, коньки, башни и дворы ее родного дома. Снег все валил, и уже она слышала влажный шелест, с каким, соскальзывая с крыши, он падал на землю. Из тысяч труб взвивался дым. Все было отчетливо, ярко, она разглядела даже, как галка выклеивает из снега червяка. Потом мало-помалу фиолетовые тени сгустились и поглотили телеги, дороги, поглотили дом. Все скрылось. Ничего не осталось от зеленой лощины: на месте муравчатых лугов была раскаленная скала, будто добела вылизанная тысячей шакалов. И тогда Орландо разрыдалась, пошла в табор и объявила цыганам, что завтра же должна вернуться в Англию.

Она счастливо отделалась. Молодежь уже замышляла ее убить. Честь, утверждали они, того требует, ибо она думает иначе, чем они. Им, однако, было бы жаль перерезать ей глотку, и они обрадовались известию о ее отъезде. Английский торговый корабль, как случаю было угодно, стоял уже в гавани, готовый воротиться в Англию; и, сорвав еще одну жемчужину со своего ожерелья, Орландо не только сумела заплатить за проезд, но разжилась и несколькими крупными банкнотами. Она бы с радостью подарила их цыганам. Но они, она знала, презирали богатство, и потому она ограничилась поцелуями, с ее стороны совершенно искренними.

ГЛАВА 4

На несколько гинеи, оставшихся от продажи десятой жемчужины из ожерелья, Орландо накупила себе всякой всячины по тогдашней моде и сидела на палубе «Влюбленной леди» в оснастке юной великосветской англичанки. Странно, и, однако же, это так – до сих пор она и думать не думала про свой пол. Возможно, турецкие шальвары уводили от него ее мысли; да и сами цыганки, за исключением двух-трех существенных пунктов, мало чем отличаются от цыган. Во всяком случае, лишь когда она ощутила прохладу шелка вокруг своих колен и капитан сверхчутливо предложил раскинуть ради нее на палубе навес, она со смятением осознала все выгоды и тяготы своего положения. Но смятение ее было, кажется, не совсем такого свойства, как следовало ожидать.

Оно было вызвано, надо сказать, не просто и не только мыслью о собственном целомудрии и о том, как его сберечь. В обычных обстоятельствах хорошенькая молодая женщина без провожатых ни о чем другом бы и не думала: все здание женского владычества держится на этом краеугольном камне; целомудрие – их сокровище, их краса, они блюдут его до остервенения, они умирают, его утратив. Но если вы тридцать лет были женщиной, а тем более послом, если вы держали в объятиях Королеву и (если молва не лжет) еще нескольких дам менее возвышенного ранга, если вы женились на Розине Пепите и так далее, вы не станете уж очень волноваться из-за своего целомудрия. Смятение Орландо имело весьма сложные корни, и в два счета их было не осмыслить. Собственно, никто никогда и не подозревал Орландо в быстроте ума, мигом постигающего суть вещей. Ей пришлось в течение всего плавания рассуждать о своем смятении, и мы последуем за нею в том же темпе.

«Господи, – думала она, несколько оправясь и растягиваясь в кресле под навесом, – ну чем, кажется, плоха такая праздность? Но, – подумала она, взбрыкнувши ножкой, – просто каторга эти юбки, прямо стреноживают шаг. Зато материя (легкий гроденапль) чудо что такое. Никогда еще моя кожа (она положила руку на колено) так выгодно не оттенялась. Да,

но как, например, прыгнуть за борт в таком наряде? Смогу я плыть? Нет! И стало быть, придется тогда рассчитывать на выручку матроса. А что? Чем плохо? Разве мне было бы противно?» – думала она, наскочив на первый узелок в гладкой пряже своих рассуждений.

Она его еще не распутала, когда настало время обеда и сам капитан – Николас Бенедикт Бартолуз, морской капитан достойнейшего вида, собственной персоной его сервировавший – потчевал ее солониной.

– Немного сальца, сударыня? – надсаживался он. – С вашего позволения, я предложу вам крошечный кусочек, с ваш ноготок.

При этих словах ее пробрал блаженный трепет. Пели птицы, журчали ручьи. Ей вспомнилось счастливое волнение, с каким она впервые увидела Сашу сотни лет назад. Тогда она преследовала, сейчас – убегала. Чья радость восхитительней – мужчины или женщины? Или, быть может, они – одно? Нет, думала она, самая прелесть (она поблагодарила капитана, но отказалась) – отказаться и видеть, как он хмурится. Ну хорошо, если уж ему так хочется, она готова съесть самый-самый тонюсенький ломтик. Оказывается, самая прелесть – уступать и видеть, как он расслабился.

«Ведь ничего, – думала она, снова растягиваясь на своем ложе под навесом и принимаясь рассуждать, – нет ничего божественней, чем артачиться и уступать, уступать и артачиться. Ей-богу, это такой восторг, с каким ничто в жизни не сравнится. И я даже не знаю, – рассуждала она дальше, – может, я и прыгну в конце концов за борт, лишь бы меня вытащил матрос».

(Не следует забывать, что она была как ребенок, которому вдруг подарили целый ящик игрушек; такие рассуждения вовсе не пристали взрослой даме, всю жизнь ими забавлявшейся.)

«Но как это, бывало, мы, юнцы в кубрике „Мари Роз“, называли женщин, готовых прыгнуть в воду, чтобы их спасал матрос? – задумалась она. – Какое-то такое слово... Ага! Вспомнила...» (Слово, однако, нам придется опустить: оно в высшей степени неуважительное и звучит чрезвычайно странно на устах юной леди.)

– О Господи, Господи! – вскрикнула она снова, заключая свои рассуждения. – Что же мне теперь? Считаться с мнением другого пола, каким бы оно мне ни казалось идиотским? А если я в юбке, и не могу плыть, и хочу, чтобы меня спасал матрос? О Господи! – крикнула она. – Что же мне делать? – И тут напала на нее тоска. От природы искренняя, она ненавидела всяческие двусмысленности и терпеть не могла врать. Окольные пути ей претили. Однако, рассуждала она, если этого гроденапля и удовольствия быть спасаемой матросом – если всего этого можно добиться только окольными путями, тут ничего уж не попишешь, тут не ее вина. Она вспомнила, как, будучи молодым человеком, требовала, чтоб женщина была покорной, стыдливой, благоуханной и прелестно облаченной. «Вот и привелось теперь на своей шкуре испытать, – думала она, – ведь женщины (судя по моему собственному недолгому опыту) не то чтобы от природы покорны, стыдливы, благоуханны и прелестно облачены. И сколько надо биться для обретения этих качеств, без которых и наслаждений нам не видать! На прическу одну, – думала она, – утром целый час уходит. Потом в зеркало глядеться – еще час, потом мыться, шнуроваться, пудриться, переоблачаться из шелка в кружева, из кружев в гроденапль, из года в год хранить целомудрие... – Тут она притопнула ножкой, и показалась часть икры. Матрос на мачте, случайно глянув вниз в эту минуту, так вздрогнул, что потерял равновесие и буквально чудом не свалился в воду. – Если вид моих лодыжек грозит смертью честному малому, у которого, конечно, на попечении семья, я обязана во имя человеколюбия их прятать», – подумала Орландо. А ведь ноги были одним из ее главных совершенств. И она стала думать о том, какая глупость, что почти всю женскую красоту приходится скрывать, чтобы матрос не сорвался стоп-мачты.

«Ах, да ну их всех к чертям!» – сказала она, впервые познавая то, что при иных обстоятельствах всосала бы с молоком матери, а именно святую ответственность женщины.

«А ведь я, пожалуй, в последний раз чертыхаюсь, – подумала она, – пока не ступила

еще на английскую землю. Никогда уже не суждено мне отпустить какому-нибудь олуху затрещину, сказать ему в лицо, что он бессовестно врет, или обнажить меч, вспороть ему брюхо, ни сидеть среди равных, носить герцогскую корону, выступать в процессии, выносить кому-то смертный приговор, ни увлекать за собою войско, ни гарцевать на боевом скакуне по Уайтхоллу, ни носить на груди семьдесят две медали сразу. Ступив на английскую землю, я только и смогу, что разливать чай и спрашивать милордов, какой они предпочитают. Не угодно ли сахару? Сливки? – И, жеманно выговорив свои вопросы, она с ужасом обнаружила, какое нелестное мнение начала составлять о другом поле, мужском, принадлежностью к которому прежде столь гордилась. – Свалиться с мачты, – думала она, – из-за того, что ты увидел женские лодыжки, разряжаться, как Гай Фокс ²³, и расхаживать по улицам, чтоб женщины тобою любовались; отказывать женщине в образовании, чтобы она над тобою не посмеялась; быть рабом ничтожнейшей вертихвостки и в то же время выступать с таким видом, будто ты – венец творения. О Боже! – думала она. – Каких они из нас делают дур и какие же мы все-таки дуры!» И по некоторой противоречивости ее суждений мы можем заключить, что она равно презирала оба пола, будто не принадлежала ни к одному; она и в самом деле будто колебалась: она была мужчиной, была женщиной, она знала тайны, разделяла слабости обоих. Ужасное, двусмысленнейшее положение. В утешительном неведении ей было отказано наотрез. Она была как листик на ветру. И неудивительно, что, сравнивая один пол с другим, в каждом находя досаднейшие пороки, не зная, к какому сама она принадлежит, она уже готова была крикнуть, что лучше она вернется в Турцию, к цыганам, когда якорь с громким всплеском упал в море, паруса повалились на палубу и она заметила (она так углубилась в свои мысли, что несколько дней вообще ничего не замечала), что корабль стал на якорь у берегов Италии. Капитан тотчас послал к ней смиреннейше просить сопровождать его на берег в шлюпке.

Воротясь наутро, она растянулась в кресле под навесом и тщательнейшим образом подобрала вокруг лодыжек юбку.

«Пусть мы в сравнении с ними бедны и темны, – думала она, продолжая фразу, брошенную накануне неоконченной, – и уж каким только не оснащены они оружием, а нам-то и грамоте не полагается знать (из этих вступительных слов уже ясно, что за ночь произошло кое-что, приблизившее Орландо к женской психологии: она рассуждала скорей по-женски, чем по-мужски, притом с известным удовлетворением), а вот поди ж ты – они срываются с мачт...» Тут она широко зевнула и погрузилась в сон. Когда она проснулась, корабль под легким ветерком шел у самого берега, и деревушки по крутому краю, казалось, чудом с него не сваливались, удержанные где скалой, где мощными корнями древней оливы. Запах апельсинов с несчетных, увешанных плодами деревьев стекал на палубу. Дельфины веселой синей стайкой били хвостами и высоко взлетали из воды. Простирая руки (руки, она заметила, не обладали столь роковым воздействием, как ноги), она благодарила Небеса, что не гарцует сейчас на боевом скакуне по Уайтхоллу и даже никому не выносит смертный приговор. «Стоит, – думала она, – облечься в бедность и невежество, темные покровы женственности; стоит другим оставить власть над миром, не жаждать воинских почестей, не домогаться славы; вообще расстаться со всеми мужскими желаниями, если зато полнее сможешь наслаждаться высшими благами, доступными человеческому духу, а это, – сказала она вслух, как с ней всегда водилось в минуты сильного волнения, – а это созерцание, одиночество, любовь».

– Слава Богу, я женщина! – воскликнула она и чуть было не впала в крайнюю глупость – нет ни в мужчинах, ни в женщинах ничего противнее, – а именно гордость своим полом, но тут она запнулась на странном слове, которое, как ни старались мы его поставить на место, пролезло-таки в заключение последней фразы: Любовь. «Любовь», – сказала Орландо. И тотчас же – до того она прыткая – любовь приняла человеческий облик: до того она нахальна. Другие понятия – пожалуйста, могут оставаться абстрактными, голыми, а этой

непрерывно подавай плоть и кровь, юбки и мантильку, лосины и камзол. И поскольку все возлюбленные Орlando раньше были женщины, то и сейчас из-за постыдной косности человеческой природы, не спешащей навстречу условностям, хотя Орlando стала женщиной сама, предмет ее любви все равно была женщина; ну а сознание принадлежности к тому же полу лишь углубляло и обостряло былые ее мужские чувства, только и всего. Тысячи тайн и намеков теперь для нее проявились. Высветлилась разделяющая оба пола тьма, кишащая всяческой нечистью, и, если что-то есть в словах поэта о правде и красе ²⁴, ее теперешнее увлечение в красе наверстывало все, что потеряло на подтасовке. Наконец-то, поняла Орlando, она узнала Сашу, всю как есть, и в пылу открытия, в погоне за обретенным наконец-то сокровищем, она так забылась, что будто пушечный гром грянул у нее над ухом, когда мужской голос произнес: «Разрешите, сударыня», мужская рука подняла ее на ноги и мужские пальцы с трехмачтовым парусником, вытатуированным на среднем, указали ей на горизонт.

– Скалы Англии, сударыня, – сказал капитан и поднял указующую длань в знак салюта. Снова Орlando вздрогнула, еще сильнее даже, чем тогда, в тот первый раз.

– Господи Иисусе! – крикнула она.

К счастью, зрелище родных берегов после долгой разлуки извиняло и крик этот, и эту дрожь, не то Орlando нелегко было бы объяснить капитану Бартолусу сложные, противоречивые, вскипевшие в ее груди чувства. Ну как ему расскажешь, что она, дрожащей рукой теперь опершаяся на его руку, прежде была послом и герцогом? Как объяснишь, что она, лилией красующаяся в складках шелка, сносила головы с плеч и леживала с уличными девками среди тюков в трюмах пиратских кораблей летними ночами, когда цвели тюльпаны и шмели гудели над Уоппинг-оулд-стеэрс? Она и себе-то не могла объяснить, почему она так вздрогнула, когда рука морского капитана ей указала на утесы Британских островов.

– Артачиться и уступать, – бормотала она, – как это дивно, ловить и добиваться – как это достойно, осмыслить и понять – как благородно.

Ни одно из этих словосочетаний ей не казалось неуместным, и однако, по мере приближения меловых утесов, она все больше себя чувствовала виноватой, обесчещенной; нецеломудренной, что в человеке, прежде ни на секунду не задумывавшемся о подобных материях, пожалуй, и странно. Ближе, ближе надвигались утесы, и вот были уже видны невооруженным глазом повиснувшие на их полувысоте сборщики морского укропа. И пока она на них глядела насмешливым эльфом, который вот-вот подберет юбки и улизнет, их заслоняла Саша – утраченная, незабытая, в чьей реальности она вдруг заново убедилась, – Саша кривлялась, гримасничала и самым непочтительным жестом указывала на утесы и сборщиков укропа; и когда матросы затянули: «Прощайте, милые испанки, и вспоминайте нас», слова эти печалью отозвались в сердце Орlando, и она подумала, что при всей обеспеченности, довольстве, покое и высоком положении, которые сулила ей эта высадка (ведь уж конечно она подцепит какого-нибудь принца крови и будет через него править половиной Йоркшира), если ей зато придется подчиняться условностям, унижаться, кривить душой, отречься от своей любви, стреноживать свои члены, поджимать губы и прикусывать язык, лучше уж, не сходя с корабля, тотчас отправиться в обратный путь, к цыганам.

Над невнятицей этих чувств, однако, вдруг поднялся некий образ, подобный гладкому, беломраморному своду, который – реальность ли? химера? – был так приманчив, что она тотчас прилепилась к нему разгоряченною мечтой, как вот дрожащий рой стрекоз жадно облепляет укрывший прихотливое растение стеклянный купол. Его форма необъяснимой прихотью фантазии тотчас ей привела на память давнее, застрявшее: просторный лоб того, у Туитчетт в гостинной, который тогда сидел, писал или, нет, скорей смотрел – не на нее, конечно: ее-то, в нынешней оснастке, он тогда не видел; впрочем, она и мальчиком была очень даже недурна, кто спорит, но мысль о нем, по своему обыкновению, едва взойдя, как

вставший над бурливым морем месяц, тотчас окуталась серебряным наметом тишины. И ее рука (другая оставалась во владении капитана) сразу потянулась к груди, где была надежно упрятана поэма. Она будто талисмана коснулась. Всех этих глупостей, свойственных полу – ее полу, – как не бывало; она помышляла теперь только о поэтической славе, и гулкие строки Марло, Шекспира, Бена Джонсона и Мильтона уже звенели и переливались, будто золотой колокол раззвенелся в соборе ее души. Образ же мраморного купола, который ее глаза различали сперва так смутно, что он ей привел на память лоб поэта и так некстати притянул еще целую стайку непрощенных идей, был не химера, но реальность; и, покуда корабль бежал под попутным ветерком по Темзе, образ этот, со всеми причиндалами, уступил место действительности и оказался не чем иным, как вставшим среди леса белых шпилей куполом огромного собора.

– Собор Святого Павла, – раздался голос капитана Бартолуса у нее над ухом. – Лондонский Тауэр, – продолжал он. – Гринвичский госпиталь, воздвигнутый в память королевы Марии ее супругом, покойным королем Вильгельмом III ²⁵. Вестминстерское аббатство. Здания Парламента.

И покуда он говорил, каждое из этих прославленных строений вставало перед ней. Было ясное сентябрьское утро. Мириады мелких суденышек сновали меж берегов. Более веселое, более увлекательное зрелище редко когда являлось взору возвращающегося путешественника. Орlando, вся недоуменное внимание, замерла на палубе. Глаза ее, за столько лет приглядевшиеся к дикарству и природе, не могли не упиваться городскими видами. Итак, это был собор Святого Павла, который мистер Рен построил, пока ее не было ²⁶. Вот золотая шевелюра взметнулась над колонной, и капитан Бартолус, тут как тут, сообщил, что это «Монумент» ²⁷; в ее отсутствие тут разразилась чума, пожар, сказал он. Как она ни сдерживалась, из глаз у нее брызнули слезы, впрочем, она вспомнила, что женщине полагается плакать, и уже их не стеснялась. Здесь, думала она, был тот великий карнавал. Здесь, на месте шумящих вод, стоял королевский павильон. Здесь впервые увидела она Сашу. Здесь где-то (она заглядывала в искрящиеся волны) все, помнится, любили смотреть на ту мороженую торговку с яблоками в подоле. Вся эта роскошь, тленность – все миновало. Миновала и черная ночь, и страшный ливень, и жуткий вой потопа. Где, кружась, метались желтые льдистые громады, унося обезумевших бедолаг, плыл теперь лебединый выводок – высокомерно, стройно, величаво. Сам Лондон, с тех пор как она его видела, совершенно изменился. Тогда, ей вспоминалось, здесь теснились черные, насупленные домишки. Головы мятежников скалились с пик Темпл-Бара. От булыжных мостовых разило отбросами. А сейчас на их корабль смотрели с берегов широкие пролеты чистых улиц. Нарядные кареты, запряженные сытыми лошадами, стояли у дверей домов, всеми эркерами своими, зеркальными окнами и надраенными кольцами свидетельствовавших о благоденствии, почтенности, достоинстве хозяев. Дамы в цветистых шелках (она прижала к глазам подзорную трубу капитана) ступали по высоким тротуарам. Горожане в расшитых камзолах нюхали табак на уличных углах, под фонарями. Окинув взглядом дрожащую на ветру пестроту вывесок, она наскоро составила представление о шелках, духах, платках, табаках, золоте, серебре и перчатках, которые продавались в лавках. Пока корабль проплывал мимо Лондонского моста, она успела заглянуть в окна кофейен, где, по случаю хорошей погоды – больше на балконах, привольно сидели почтенные граждане и перед ними стояли фарфоровые блюда, рядом лежали глиняные трубки и кто-нибудь один читал вслух газету, то и дело прерываемый смехом и замечаниями остальных. Это там таверны, умники, поэты? – спрашивала она капитана Бартолуса, который ей любезно сообщал, что как раз сейчас, если она поворотит голову чуть левей и поглядит по направлению его указательного

25

26

27

пальца, то – корабль шел мимо «Дерева Какао»²⁸, где – ага, он самый – мистер Аддисон пил кофе; «двое других господ – вон там, сударыня, чуть правей, значит, от фонаря, один горбатенький такой, другой совсем как вы да я, – так это, значит, мистер Поп и мистер Драйден²⁹, оно, конечно, жалко их, – присовокупил капитан, под этим разумея, что они католики, – однако господа толковые», – заключил он и зашагал кормой, дабы приглядеть за высадкой.

– Аддисон, Драйден, Поп, – повторяла как заклинание Орландо. На минуту ей представились горы над Бурсой, в следующую минуту она ступила на родную землю.

Но тут-то Орландо пришлось понять, что самая неистовая буря чувств бессильна перед железной непреклонностью закона, настолько тверже он камней Лондонского моста и пушечных неумолимей жерл. Едва она вернулась к себе домой в Блэк-фрайерз, один за другим чиновники с Боу-стрит³⁰ и прочие блюстители порядка ее уведомили, что она ответчица по трем искам, вчиненным ей за время ее отсутствия, и еще по ряду дел, отчасти из них проистекающих, отчасти с ними смежных. Главные обвинения против нее были: 1) что она умерла и посему не может владеть какой бы то ни было собственностью; 2) что она женщина, что влечет за собою приблизительно таковые же последствия; 3) что она английский герцог, женившийся на некоей Розине Пепите, танцовщице, и имеет от нее троих сыновей, каковые по смерти отца предъявили свои права на наследование всего имущества усопшего. Чтобы избавиться от столь серьезных обвинений, требовались, разумеется, время и деньги. Все ее имение было заложено в казну, и все титулы объявлены оставшимися без владельца вплоть до решения суда. И таким образом, в весьма щекотливом положении, неизвестно, живая или мертвая, мужчина или женщина, герцог или Бог знает кто, она отправилась на почтовых в свое сельское прибежище, где получила разрешение жить до конца разбирательства в качестве инкогнито, мужского или женского пола, уж как покажет исход дела.

Был чудесный декабрьский вечер, когда она прибыла туда, и падал снег, клонились фиолетовые тени, совсем как ей привиделось тогда на горе возле Бурсы. Огромный дом раскинулся в снегу, скорей как целый город, – бурый, розовый, фиолетовый и синий. Дымили трубы, старательно, от всей души. При виде этой мирно разлегшейся в лучах громады Орландо едва сдержала восторженный крик. Когда желтая карета въехала в парк и покатила между деревьев по аллее, благородные олени вопросительно скидывали головы и, было замечено, вместо того чтоб проявлять положенную их брату робость, неотступно следовали за каретой. Иные трясли рогами, прочие били копытом землю, когда спускали лестницу и выходила Орландо. Один, говорят, просто плюхнулся перед ней на колени в снег. Она даже не успела протянуть руку к дверному молоточку: огромные двустворчатые двери распахнулись и, высоко поднявши факелы и свечи, миссис Гримздитч, мистер Даппер и весь штат прислуги явились на пороге, приветствуя ее. Задуманный чин встречи, однако, нарушился сперва несдержанностью пса Канута³¹, который так пылко бросился к своей хозяйке, что чуть ее не повалил, а затем смятением миссис Гримздитч, которая вместо реверанса от полноты чувств только и могла бормотать «Милорд! Миледи! Миледи! Милорд!», пока Орландо ее не успокоила, сердечно расцеловав в обе щеки. Затем мистер Даппер принялся было читать по пергаменту, но борзые лаяли, охотники трубили в рога, тут же мешались под шумок зашедшие во внутренний двор олени, мистер Даппер оставил свою затею, и все общество разбрелось по дому, предварительно, каждый на свой манер, засвидетельствовав хозяйке радость по случаю ее возвращения.

Никто не выказал ни минутного подозрения, что Орландо – не тот Орландо, которого они знали. Если какие мысли и закрались бы в сердца людей, поведение оленей и собак

28

29

30

31

тотчас бы их развеяло, ибо немые твари, каждый знает, гораздо лучше способны разобраться в том, кто есть кто, и в характере нашем, чем мы сами. Более того, говорила миссис Гримздитч, попивая вечером китайский чай с мистером Даппером, если хозяин и стал теперь хозяйкой, она лично в жизни не видывала более хорошенькой, да их и не различить, – обоих небось природа не обидела, как два персика с одной ветки; честно сказать, разоткровенничалась миссис Гримздитч, она всегда кое-чего смекала (она таинственно покачала головой) и нисколечко не удивляется (она покачала головой с умным видом), и, сказать по чести, она лично очень даже рада: полотенца все прохудились, занавески у капеллана в гостиной все молью траченные, самое время, чтобы хозяйка в доме была.

– А потом и маленькие хозяйки и наследнички, – подхватил мистер Даппер, вместе со святым саном облеченный правом вслух высказываться о столь деликатных материях.

И вот пока старые слуги судачили в людских, Орландо взяла серебряный подсвечник и снова пустилась блуждать по залам, галереям, спальням; оглядывала смутные лики лорда хранителя печати, лорда гофмейстера двора и прочих предков, взиравших на нее со стен, – то присядет на роскошное кресло, то склонится под пышный балдахин, – смотрела, как колышутся шпалеры (охотники скакали, бежали дафны); полоскала руку, как когда-то, в желтом луче луны, пронзавшем оконного геральдического леопарда; скользила по вошечным доскам галерей, не тесанным с исподу, – где шелк погладит, где пощупает атлас, – воображала, что резные дельфины плывут вдоль стен; чесала волосы серебряной щеткой короля Якова; зарывала лицо в розовые лепестки, засушенные сотни лет назад при Вильгельме Завоевателе и по его рецепту; смотрела в сад, воображала сон крокусов, дремоту далий; видела, как нежные тела нимф белеют на снегу, и черную за ними высокую ограду из секвойи, и апельсины видела, и мушмулу – все это она видела, и каждый образ, каждый звук, как бы топорно мы его ни описали, ударял ее по сердцу и наполнял таким блаженством, что в конце концов, изнеможенная, она пошла в часовню и бросилась в алое кресло, в котором предки ее когда-то слушали службу. Тут она закурила манильскую сигару (привычка, вывезенная с Востока) и раскрыла молитвенник.

То был томик, переплетенный в шитый золотом бархат, который Мария, королева Шотландская, держала в руках на эшафоте, и доверчивый глаз еще угадывал темное пятно, оставленное, говорили, каплей королевской крови. Но какие благочестивые мысли будило оно в Орландо, какие злые страсти убаюкивало, – кто же скажет, зная, что из всех встреч людских встречи с божеством – самые непостижимые? Романисты, поэты, историки – все топчутся под этой дверью; да и сам верующий едва ли вам ее приоткроет, ибо разве он более других готов к смерти или спешит раздать свое имущество? Не держит ли он ничуть не меньше горничных и лошадей, чем другие? Что не мешает ему придерживаться веры, которая, он говорит, доказывает суетность всех благ земных, а смерть делает желанной. Молитвенник королевы, помимо кровавого пятна, хранил локон ее волос и крошки пирога; Орландо прибавила к этим сувенирам еще и табачные разводы; она покуривала, читала, и вся эта смесь – локон, кровавое пятно, пирог, табак – ее настраивала на высокий лад, и лицо обретало вполне приличное обстоятельством смиренное выражение, хотя, кажется, она не имела никаких отношений с обычным Богом. Нет, однако, ничего надменной, нет ничего пошлей, чем утверждать, что имеется лишь один Бог и лишь одна религия, а именно исповедуемая говорящим. У Орландо, кажется, была собственная вера. Со всем религиозным пылом она рассуждала сейчас о своих грехах и слабостях, вкравшихся в душу. Буква «С», рассуждала она, сущий змей в садах поэтава рая. Как ни старалась она их избежать, эти зловредные свистящие рептилии заполнили первые строфы «Дуба». Но что «С»? «С» – пустяки в сравнении с окончанием «аций». Причастие настоящего времени – это просто дьявол собственной персоной, думала Орландо (раз уж мы в таком месте, где нельзя не верить в дьявола). Избегать же искушений – первейший долг поэта, заключила она, ведь раз путь в душу лежит через ухо, значит, и поэзия может вернее совратить и разрушить, чем пушечный порох и блуд. Служение поэта – самое высокое служение, продолжала она рассуждать. Слова его поражают цель, когда другие летят мимо. Глупая песенка Шекспира

больше помогает отверженным и нищим, чем все на свете проповедники и филантропы. Никакого времени, никаких усилий не жалко, лишь бы приладить передаточные средства к нашим идеям. Надо обрабатывать слово до тех пор, пока не сделается тончайшей оболочкой мысли. Мысли божественны... Короче говоря, совершенно очевидно, что она вернулась в границы собственной религии, которые время лишь укрепило в ее отсутствие, и теперь стремительно набиралась нетерпимости.

«Я расту», – подумала она, взяв наконец свечу. – Я расстаюсь с иллюзиями, – сказала она, захлопнув молитвенник королевы Марии, – быть может, чтоб набраться новых. – И она спустилась к гробам, где лежали кости ее предков.

Но даже кости предков – сэра Майлза, сэра Джерваса и прочих – что-то утратили в ее глазах с тех пор, как Рустум Эль Сади махнул тогда рукой на азиатской горе. Каким-то образом тот факт, что всего каких-нибудь триста – четыреста лет тому назад эти скелеты были людьми и не хуже современных выскочек стремились к месту под солнцем, которого и добивались, стяжая дома и титулы, ленты и подвязки, как оно выскочкам положено, тогда как поэты, люди высокого духа и образования, предпочитали одиночество и тишину, за каковое предпочтение теперь и расплачиваются нищетой, выкликают газеты на Стрэнде или пасут овец в лугах, – каким-то образом факт этот был ей противен. Она вспомнила о египетских пирамидах, о том, какие кости лежат под ними, покуда она торчит в своем склепе; и просторные, пустые горы над Мраморным морем на миг ей показались более уютным пристанищем, чем огромный замок, где у каждой постели есть одеяло и серебряная крышка у каждого серебряного блюда.

«Я расту, – думала она, взяв свечу. – Я теряю иллюзии, но, быть может, обрету новые». И она отправилась длинной галереей к своей спальне. Да, это будет, конечно, нелегко. Зато как интересно, как увлекательно, думала она, вытягивая ноги перед камином (поблизости не было матросов) и наблюдая свое собственное продвижение как бы среди высоких зданий – свое собственное продвижение по прошлым дням.

Как мальчиком любила она звук, произвольный взрыв вокабул считая поэзией самой! Потом – наверное, из-за Саши, из-за разочарования – в высокое безумство упала капля черноты, и порывистость обернулась скучливой ленью. В душе открылись темные, запутанные закоулки, и, чтобы их обшарить, понадобился светильник; стихи уж не годились, в ход шла проза; она вспомнила, как зачитывалась этим доктором из Норвича, Брауном, его книга и сейчас у нее под рукой. Тут, в тиши, после эпизода с Грином она поклялась воспитать в себе – да не сразу дело делается, на это века уходят – дух сопротивления. «Что хочу, то и пишу», – сказала она себе и намарала двадцать шесть томов. Но вот после всех странствий, приключений, глубоких раздумий, превращений туда-сюда она еще не полностью сложилась. Что готовит ей будущее – Бог весть. Она меняется непрестанно, и это может продолжаться вечно. Бастионы мысли, навыки, казавшиеся незыблемее каменных твердынь, рассеиваются, как дым, от малейшего прикосновения чужого ума, обнаруживая голое небо, прохладное мерцание звезд. Тут она подошла к окну и, несмотря на холод, его отворила. Подставила лицо и плечи сырому ночному ветру. Послушала, как твякает лисица, как шуршит ветками фазан. Как снег, шелестя, плюхается с крыши.

– Ей-богу, – крикнула она, – тут в тысячу раз лучше, чем в Турции! Рустум, – крикнула она, стараясь переспорить цыгана (эта новая черточка – способность держать в уме какой-то довод, продолжая спорить с тем, кого нет в наличии, дабы его опровергнуть – лишний раз доказывает, что душа ее продолжала развиваться), – нет, ты ошибся, Рустум. Тут куда лучше, чем в Турции. Локон, пирог, табак – вот ведь из какой состоим мы дребедени, – сказала она (вспомнив молитвенник королевы Марии). – Что за фантазмагория наша душа, какая свалка противоречий! То, отрекшись от своего рода-племени, мы устремляемся к Сионским высотам, а в следующий миг от запаха заросшей садовой тропки, от пения дроздов ударяемся в слезы. – И, как всегда подавленная неисчислимостью материй, взывающих к объяснению, не давая притом ни малейшего намека на свой сокровенный смысл, она швырнула за окно манильскую сигару и отправилась спать.

Наутро под влиянием своих раздумий она достала перо, бумагу и заново уселась за поэму «Дуб», ибо иметь вдоволь бумаги и чернил, когда вы уж притерпелись было к ягодам и полям черновиков, – невообразимая благодать. И, с отчаянием и отвращением вымарав одну строку, она с блаженным восхищением вписывала другую, когда тень упала на страницу. Она поскорей спрятала рукопись.

Окно выходило на самый укромный дворик, и она распорядилась никого к ней не пускать, тем более что никого не знала, да и сама – по закону – была неизвестной, а потому она сперва удивилась этой тени, потом пришла в негодование, потом (когда подняла глаза и увидела ее источник) развеселилась донельзя. Ибо тень была знакомая, уморительная тень, это как пить дать была тень эрцгерцогини Гарриет Гризельды из Финстер-Аархорна-Скок-оф-Бума, что в румынских землях.

Она скакала через двор в той же своей амазонке и плаще. Она ни на волос не изменилась. Так вот из-за кого пришлось бежать из Англии! И это – страшное исчадие, это – роковая дичь! От одной мысли, что она бежала аж до самой Турции, чтобы спастись от этих чар (ну не чушь ли?), Орландо вслух расхохоталась. Во всей фигуре было что-то невыразимо потешное. Больше всего она напоминала, как и прежде думалось Орландо, какого-то идиотского зайца. Такие же выпученные глаза, втянутые щеки и что-то высокое на голове. Вот – замерла, совсем как заяц, когда сел торчком во ржи и думает, что никто его не видит, и уставилась на Орландо, которая в свою очередь на нее смотрела из окна. Так наблюдали они друг друга некоторое время, пока наконец Орландо не пришлось пригласить ее зайти, и вот обе дамы уже обменивались любезностями, пока эрцгерцогиня отряхивала снег с плаща.

– Черт бы побрал это бабье, – сама с собой говорила Орландо, подходя к буфету, чтобы налить стакан вина, – ни на минуту не оставят в покое человека. Суетливей, настырней, прилипчивее их нет никого на свете! Из-за такого чучела я рассталась с Англией, и вот... – Тут она обернулась, чтобы поставить поднос перед эрцгерцогиней, и увидела: на месте эрцгерцогини сидел высокий господин в черном. Груда одежды была навалена в камин. Орландо была наедине с мужчиной.

Вынужденная вдруг вспомнить про свою женственность, о которой начисто забыла, и про его пол, достаточно несхожий с ее собственным, чтобы внушать тревогу, Орландо почувствовала, что вот-вот упадет в обморок.

– Ах! – вскрикнула она, хватаясь за бок. – Как же вы меня напугали.

– Милое создание, – крикнула эрцгерцогиня, преклоняя одно колено и одновременно поднося к губам Орландо живительную влагу, – простите мне мой обман!

Орландо отхлебнула вина, и эрцгерцогиня, упав на колени, ей поцеловала руку.

Короче говоря, они десять минут кряду истово разыгрывали партию мужчина – женщина, после чего пошел настоящий разговор. Эрцгерцогиня (которая в дальнейшем будет называться эрцгерцогом) рассказал свою историю – что он мужчина и всегда был таковым; что он увидел портрет Орландо и тотчас безнадежно в него влюбился; что для достижения своих целей он поселился у булочника; что он был безутешен, когда Орландо бежал в Турцию; что он услышал о ее преображении и поспешил сюда предложить свои услуги (тут пошли непереносимые хихи-хаха). Ибо для него, сказал эрцгерцог Гарри, она всегда была и останется вовеки воплощением, вершиной, венцом своего пола. Эти три «в» могли бы быть убедительней, если бы не пересыпались хиханьками-хаханьками самого сомнительного свойства. «Если это и любовь, – сказала сама себе Орландо, глядя на эрцгерцога из-за камина уже с женской точки зрения, – то как же она смешна».

Упав на колени, эрцгерцог Гарри в самых страстных выражениях ей предложил руку и сердце. У него, сказал он, в замке, в сейфе, лежит около двадцати миллионов дукатов. Земель у него больше, чем у любого английского вельможи. А какая у него охота! Он покажет Орландо тетеревов и куропаток, каких не сыщешь ни на английских, ни на шотландских болотах. Правда, фазаны в его отсутствие пострадали от зевоты, а оленихи поскидывали приплод, но ничего, с ее помощью все образуется, когда они вместе переедут в Румынию.

Пока он говорил, две огромные слезы закипели в его выкаченных глазах и потекли по

землистым бороздам вдоль тощих, впалых щек.

Мужчины ударяются в слезы так же часто и так же беспричинно, как женщины, это Орландо знала по собственному мужскому опыту; но она начала догадываться, что женщину должно коробить, когда мужчина расчувствуется в ее присутствии, и ее покоробило.

Эрцгерцог извинился. Он несколько овладел собой и объявил, что сейчас ее оставит, но на завтра вернется за ответом.

Был вторник. Он вернулся в среду; он вернулся в четверг, в пятницу и в субботу. Правда, каждый визит начинался, продолжался и заключался объяснениями в любви, но они оставляли достаточно времени для пауз. Орландо и эрцгерцог сидели по разным сторонам камина; время от времени он обрушивал щипцы или совок, и Орландо их подбирала. Потом эрцгерцог вспоминал, как он в Швеции подстрелил оленя, и Орландо интересовалась, большой ли был олень, и эрцгерцог отвечал, что нет, не такой большой, как тот, которого он подстрелил в Норвегии; потом Орландо спрашивала, не случилось ли ему стрелять тигра, и эрцгерцог отвечал, что он застрелил альбатроса, и Орландо спрашивала (не вполне успешно подавляя зевок), был ли этот альбатрос со слона или меньше, и эрцгерцог отвечал... что-то вполне разумное, конечно, но Орландо не слышала, потому что смотрела на свой письменный стол, в окно, на дверь. После чего эрцгерцог говорил: «Я вас обожаю» – в тот самый миг, когда Орландо говорила: «Поглядите, кажется, накрапывает», и оба ужасно смущались, краснели до корней волос, и ни один не мог придумать, что сказать дальше. Орландо совершенно истощила свою изобретательность, просто не знала, о чем еще говорить, и, не вспомни она об игре под названием муха-мушка, на которой можно проиграть очень большие суммы денег, почти не затрачивая при этом умственных способностей, ей в конце концов пришлось бы, вероятно, выйти замуж за эрцгерцога, потому что, как иначе от него отделаться, она не постигала. С помощью же этого весьма нехитрого средства, требующего лишь трех кусочков сахара и известного числа мух, удавалось преодолевать трудности беседы и избегать необходимости брака. Теперь эрцгерцог ставил пятьсот фунтов против шестипенсовика Орландо, что вот эта муха сядет вот на тот кусок сахара, а не на этот. Иногда, таким образом, они с самого утра и до обеда наблюдали, как мухи, перебарывая естественную для зимней поры апатию, часто битый час кружили под потолком, покуда какая-нибудь изящная навозница не делала свой выбор и не определяла исход пари. Много сотен фунтов перешло из рук в руки в этой игре, которая была во всех отношениях ничуть не хуже скачек, как утверждал азартный эрцгерцог, клявшийся в нее играть до конца своих дней. Но Орландо скоро заскучала.

«Что толку быть прекрасной женщиной во цвете лет, – спрашивала себя Орландо, – если я каждое утро должна убивать на то, чтоб следить за навозными мухами с каким-то эрцгерцогом?»

От самого вида сахара ее уже мутило; ее тошнило от мух. Тут, догадывалась она, безусловно должен быть какой-то приличный выход, но, недостаточно еще поднатюрен в приемах своего пола и не имея возможности двинуть человека кулаком по черепу или вспороть ему брюхо рапирой, она не придумала лучшего способа, чем следующий. Она ловила навозную муху, мягко лишала жизни (муха и без того была сонная, иначе любовь к бессловесным тварям никогда бы не позволила этого Орландо) и с помощью капли гуммиарабика прикрепляла к кусочку сахара. Пока эрцгерцог смотрел в потолок, она ловко подсовывала этот кусочек вместо того, на который делала ставку, и с криком «Муха-мушка!» объявляла, что выиграла. Расчет у нее был тот, что эрцгерцог, достаточно осведомленный в спорте и скачках, разоблачит жульничество и, поскольку обман в мушку – гнуснейшее из преступлений, за которое во все времена изгоняли из человеческого общества – вон, в джунгли, к обезьянам, – у него, надеялась Орландо, достанет мужественности порвать с нею навсегда. Но она недооценила благородную простоту добрейшего вельможи. Он плохо разбирался в мухах. Мертвой мухи он не отличал от живой. Она двадцать раз сыграла с ним эту шутку, и он ей переплатил больше 17 250 фунтов (что на наши деньги составляет 40 885 фунтов, 6 шиллингов и 8 пенсов), пока Орландо не обнаглела до такой степени, что даже он

не мог не заметить подлога. Когда он наконец понял всю правду, разразилась мучительная сцена. Эрцгерцог вытянулся во весь свой могучий рост. Он побагровел. Слезы, одна за другой, стекали по его щекам. То, что она выиграла у него целое состояние, – пустяки, ради Бога, на здоровье; она обманула его – вот что плохо, ему больно думать, что она на это способна; но главное – она жульничает в мушку. Любить женщину, которая жульничает в игре, сказал он, невозможно. Тут он совсем потерялся. Хорошо еще, сказал он, несколько оправясь, дело обошлось без свидетелей. Она ^е, сказал он, всего-навсего женщина. Короче говоря, он уже собирался пойти на попятный, простить ее от полноты сердца и просить ее, чтобы простила ему несдержанность речей, но она пресекла его попытки и, едва он склонил перед ней свою гордую голову, сунула ему за шиворот небольшую жабу.

Справедливости ради следует упомянуть, что она бы в тысячу раз охотней применила рапиру. Жабы слишком липкие, чтоб держать их за пазухой все утро. Но если рапира запрещена, приходится пользоваться жабами. Вдобавок жабы в сочетании с хохотом могут преуспеть там, где бессильна холодная сталь. Она хохотала. Эрцгерцог покраснел. Она хохотала. Эрцгерцог разразился проклятьями. Она хохотала. Эрцгерцог хлопнул дверью.

– Слава тебе, Господи! – все еще хохоча, крикнула Орландо. Она слышала, как на большой скорости мчат по аллее дрожки. Вот загремели по дороге. Тише, тише делался звук. Вот и вовсе стих.

– Я одна, – сказала Орландо вслух, ведь никто не мог ее услышать.

Тот факт, что тишина после шума становится гуще, – еще требует научных доказательств. Но тот факт, что одиночество живее ощутимо сразу после того, как вас любили, – подтвердят многие женщины. Покуда замирал шум эрцгерцогского экипажа, Орландо чувствовала, как от нее все дальше, дальше уходит некий эрцгерцог (ну и пусть), богатство (ну и пусть), титул (пусть), спокойствие и устроенность семейного быта (пусть, пусть), но от нее, она чувствовала, уходили жизнь и любовь. «Жизнь и любовь», – бормотала она, и, подойдя к письменному столу, она обмакнула перо в чернильницу и написала:

«Жизнь и любовь», – строку, ничего общего не имевшую, никак не вытекающую из того, что ей предшествовало (что-то насчет правильного способа уничтожения паразитов на овце во избежание парши). Перечитав эту строку, она покраснела и повторила:

– Жизнь и любовь.

Затем, отложив перо, она пошла в спальню, встала перед зеркалом, поправила на шее жемчужное ожерелье. Потом, поскольку жемчуга плохо сочетались с утренним платьем из цветастого ситца, она переделалась в светло-серую тафту, потом в персиково-розовую, а потом уж в парчу вишневого цвета. Наверное, не помешало бы чуть припудрить нос, уложить волосы на лбу – вот так. Потом она сунула ноги в остроносые туфельки, надела на палец изумрудное колечко. «Ну вот», – сказала она, когда все было готово, и засветила по обеим сторонам зеркала серебряные канделябры. И какая бы женщина не загорелась, увидев то, что увидела сейчас Орландо, горящее в снегах: зеркало было все сплошь – снежная равнина, а сама она – костер, пылающая купина, и пламя свечей сияло у нее над головой серебряной листвой; или нет, зеркало было – зеленая вода, а сама она русалка, униженная жемчугами; укрывшаяся в гроте сирена, так поющая, что гребцы, клонясь к бортам, падают из лодок вниз, вниз, вниз, чтобы ее обнять; так темна, так светла, тверда, нежна она была, так дивно соблазнительна, и безумно, безумно было жаль, что некому это выразить в простых словах, взять и сказать: «Черт побери, сударыня, вы прелесть, да и только!» И ведь это было чистой правдой. Орландо (вовсе не страдавшая самомнением) и сама это знала, и она улыбнулась той невольной улыбкой, какой улыбаются женщины, когда их собственная красота, будто им и не принадлежа – так взбужает капля, так взлетают струи, – вдруг им встает навстречу в зеркале; вот такой улыбнулась она улыбкой, а потом она на секунду вслушалась и услышала всего лишь – листья шелестят, чирикают воробьи, и она вздохнула: «Жизнь, любовь» – и с удивительной быстротой повернулась на пятках, сорвала с шеи жемчуга, стянула с себя шелка и, стоя в простых черных бриджах обыкновенного дворянина, позвонила в колокольчик. Вошел слуга; она велела немедля подать к крыльцу карету цугом.

Срочные дела ее призывают в Лондон. Не прошло и часу, как исчез эрцгерцог, а она уже отправилась в путь.

А покамест она едет, мы воспользуемся случаем (поскольку пейзаж за окном – обыкновенный английский пейзаж, не нуждающийся в описаниях) и привлечем более подробное внимание читателя к нескольким нашим беглым заметкам, оброненным в свое время там и сям по ходу рассказа. Напомним, например, что Орландо прятала свои рукописи, когда ее заставляли за сочинительством. Далее – что она долго и внимательно смотрелась в зеркало; и вот теперь, когда она ехала в Лондон, можно было заметить, как она вздрагивала и подавляла крик, если лошади припускали быстрее, чем бы ей хотелось. Конфузливость ее по части сочинительства, суетность по части внешности, страхи по части собственной безопасности – все это, пожалуй, нас вынуждает признаться, что сказанное несколько выше об отсутствии перемен в Орландо в связи с переменой пола теперь уже как будто и не вполне верно. Она стала чуть более скромного мнения о своем уме, как женщине положено, стала чуть больше тщеславиться своей внешностью, как свойственно женщине. Одни черты характера в ней усугублялись и смазывались другие. Перемена в одежде, скажут многие мыслители, сыграла тут значительную роль. Кажется, что одежда? – говорят эти мыслители, – пустяк, ничто, а ведь назначение ее куда важнее, чем просто нас защищать от холода. Она меняет наше отношение к миру и отношение мира к нам. Например, увидев юбку Орландо, капитан Бартолус сразу приказал укрепить над ней навес, вынудил ее взять еще ломтик солонины и пригласил сопровождать его на берег в лодке. И не видать бы ей всех этих знаков внимания, если бы юбки ее, вместо того чтоб развеиваться, узкими бриджами плотно облегли ноги. А когда вам оказывают знаки внимания, на них приходится соответственно отвечать. Орландо делала книксен; она уступала, она льстила добряку, чего бы, разумеется, не стала делать, будь его чеканные штанины женскими юбками, а шитый мундир – атласным женским лифом. И выходит, многое подтверждает тот взгляд, что не мы носим одежду, но она нас носит; мы можем ее выкроить по форме нашей груди и плеч, она же кроит наши сердца, наш мозг и наш язык по-своему. А потому, поносивши некоторое время юбки, Орландо заметно изменилась, и даже, между прочим, изменилось у нее лицо. Если мы сравним портрет Орландо-мужчины и портрет Орландо-женщины, мы убедимся, что, хотя это, без сомнения, один и тот же человек, кое-что в нем, конечно же, переменялось. У мужчины рука вольна вот-вот схватить кинжал; у женщины руки заняты – удерживают спадающие с плеч шелка. Мужчина открыто смотрит в лицо миру, будто созданному по его потребностям и вкусу. Женщина поглядывает на мир украдкой, искоса, чуть ли не с подозрением. Носи они одно и то же платье, кто знает, быть может, и взор был бы у них неразличим.

Так считают многие мыслители и мудрецы, но мы в общем склоняемся к другому мнению. Различие между полами, к счастью, куда существенней. Платье всего лишь символ того, что глубоко под ним упрятано. Нет, это перемена в самой Орландо толкнула ее выбрать женское платье, женский пол. И возможно, она лишь более открыто выразила (открытость вообще ведь суть ее натуры) нечто происходящее со многими людьми, только не выражаемое столь очевидно. И вот опять мы натолкнулись на дилемму. Как ни разнится один пол от другого – они пересекаются. В каждом человеке есть колебание от одного к другому полу, и часто одежда хранит мужское или женское обличье, тогда как внутри идет совсем другая жизнь. Какие неловкости и пертурбации это порой влечет, каждый по себе знает; довольно, впрочем, общих рассуждений, пора вернуться к особому случаю Орландо.

Смещение в ней мужского и женского начал, поочередно одерживавших верх, часто сообщало некоторую неожиданность ее повадкам. Любопытные дамы, например, удивлялись, как, будучи женщиной, Орландо никогда не тратит больше десяти минут на одевание? И выбирает она платья как-то наобум. И носит их как-то небрежно. Но с другой стороны, утверждали дамы, нет в ней и мужской жесткости, мужской жажды власти. Она чувствительна на редкость. Не может видеть, как тонконогую осленка бьют кнутом, как топят котенка. И все же, замечали они, она терпеть не может домашнего хозяйства, встает на

рассвете, и летом до восхода солнца уже она в лугах. Редкий крестьянин так разбирается в зерновых. Она не дура выпить, она обожает азартные игры. Орландо дивно держалась в седле, гоняла галопом шестерку лошадей по Лондонскому мосту. И все же, при всей своей мужской отваге, она, было замечено, совсем по-женски трепетала при виде чужой беды. Чуть что – ударялась в слезы. Понятия не имела о географии, математику находила несносной и разделяла кое-какие предрассудки, более распространенные среди женщин, – например, что ехать к югу, значит, ехать вниз. Итак, чего в Орландо было больше – мужского или женского, – сказать очень затруднительно, да сейчас и не решить. Потому что карета ее уже грохотала по булыжникам. Орландо подъезжала к своему городскому дому. Были спущены ступеньки, отворены железные ворота. Она входила в отцовский дом на Блэк-фрайерз, который, хоть мода поспешно покидала этот край Лондона, остался благообразным и просторным домом, и шелестел вокруг милый орешник, и милый сад сбегал к реке.

Здесь она обосновалась и принялась безотлагательно высматривать вокруг то, за чем сюда явилась, – жизнь и поклонника. Относительно первой оставались известные сомнения; второго она обрела через два дня по приезде без малейшего труда. Приехала она во вторник. В четверг отправилась гулять по Моллу, как было тогда принято в хорошем обществе. Не успела она и двух раз пройти туда-обратно, как привлекла внимание кучки зевак, пришедших поглазеть на более чистую публику. Когда она проходила мимо, женщина с ребенком на руках выступила вперед, уставилась в лицо Орландо и крикнула: «Лопни мои глаза! Да это ж леди Орландо, ей-богу!» Ее приятели обступили Орландо, и она тотчас оказалась в кольце лавочников и торговок, горящих желанием поглядеть на героиню нашумевшей тяжбы. Такой уж интерес вызвало это разбирательство в умах простого люда. Зажатая толпой, Орландо могла бы оказаться в весьма стеснительном положении – она совсем забыла, что даме не пристало ходить по улицам без провожатых, – если бы высокий господин не выступил вперед, любезно предлагая ей свою поддержку. То был эрцгерцог. При виде него ее охватила тоска и в то же время разбирал смех. Великодушный вельможа не только ее простил, но, желая загладить легкомысленную выходку с жабой, он заказал брошку в форме сей рептилии, каковую и успел ей всучить вместе с новым предложением руки и сердца, пока провожал ее к карете.

Из-за этой толпы, из-за этого эрцгерцога, из-за этой жабы Орландо ехала домой в премерзком расположении духа. Неужели же нельзя выйти погулять, чтобы тебе при этом не наступали на пятки, не дарили смарагдовых жаб и не делал предложение эрцгерцог? Она, однако, несколько смягчилась утром, когда нашла у себя на столике с десятков визитных карточек влиятельнейших дам страны – леди Суффолк, леди Солсбери, леди Честерфилд, леди Тависток и другие любезнейшим образом напоминали ей о прежних связях своих семейств с ее семейством и просили о чести с нею познакомиться. На другой день, а именно в субботу, многие из этих дам предстали перед ней воочию. Во вторник около полудня их лакеи доставили ей приглашения на разные обеды, рауты и встречи в ближайшем будущем, и, таким образом, Орландо без отлагательств, взметая брызги и некоторую пену, была спущена со стапелей на воды лондонского общества.

Дать правдивое описание лондонского общества той, да и любой другой поры не по зубам биографу или историку. Лишь тем, кого не слишком интересует и заботит правда – поэтам, романистам, – лишь им такое по плечу, ибо это один из тех случаев, где правды нет. И ничего нет. Все, вместе взятое, – мираж, фата-моргана. Поясним, однако, свою мысль примером. Орландо приезжала домой после такого сборища в три-четыре часа утра, и глаза ее сияли, как звезды, а щеки пылали, как рождественская елка. Она развязывала шнурок и без конца бродила взад-вперед по комнате, развязывала другой шнурок и снова бродила взад-вперед. Часто солнце уже золотило трубы Саутуарка, прежде чем она себя заставит лечь в постель, и она лежала, ворочалась, вскидывалась, вздыхала, хохотала больше часа, пока, бывало, не уснет. И что же было, спрашивается, причиной такого возбуждения? Общество. Но что же такого общество сделало или сказало, чтобы так разволновать неглупую молодую даму? Да вот именно что ничего. Как мучительно ни рылась Орландо на другой день в своей

памяти, она ничего не могла из нее выудить, достойного упоминания. Лорд О. был любезен. Лорд А. приятен. Маркиз С. очарователен. Мистер М. остроумен. Но когда она себя спрашивала, в чем же состояли любезность, приятность, очаровательность и остроумие, ей приходилось предполагать, что память ей изменяет, ибо она решительно ничего тут не могла ответить. И вечно повторялось одно и то же. Назавтра все улетучивалось, тогда как накануне она вся дрожала от возбуждения. И мы вынуждены заключить, что общество – как то варево, которое поднаторевшая хозяйка в сочельник подает горячим: вкус определяют десятки верно подобранных и взболтанных снадобий. Возьмите одно из них – само по себе оно окажется невкусным. Возьмите лорда О., лорда А., маркиза С. или мистера М.: каждый сам по себе – ничто. Смешайте их, взболтайте – и получится такой пьянящий вкус, такой неотразимый аромат! Но это опьянение, эта неотразимость не подвластны нашему анализу. В одно и то же время общество есть все и общество – ничто. Общество – крепчайшее на свете зелье, и общества вообще нет как нет. Иметь дело с такими чудищами с руки только поэтам и романистам; подобными фантомами набиты и начинены их сочинения – что же, на здоровье, им и карты в руки.

А мы, следуя примеру своих предшественников, скажем только, что общество времен королевы Анны ³² отличалось несравненной пышностью. Вступить в него было целью каждого высокородного лица. Тут требовалась величайшая сноровка. Отцы наставляли сыновей, матери – дочерей. Ни мужское, ни женское образование не считалось завершенным без искусства поступи, науки кланяться и приседать, умения владеть мечом и веером, правильного ухода за зубами, гибкости колен, точных знаний по части входа и выхода из гостиной и тысячи этцетера, которые легко домыслит всякий, кто сам вращался в обществе. Поскольку Орландо заслужила лестный отзыв королевы Елизаветы, мальчиком подав ей чашу розовой воды, надо думать, она умела и горчицу передать как следует. Но, надобно признаться, была в ней и рассеянность, порою приводившая к неловкости; она была склонна думать о поэзии, когда следовало думать о тафте; шаг ее для дам был, пожалуй, чересчур широк, а размашистый жест нередко грозил опасностью стоявшей рядом чашке чая.

То ли этих мелких шероховатостей довольно было, чтоб затмить ее блистание, то ли она на каплю больше унаследовала того темного тока, какой бежал по жилам всех ее предков, – известно только, что она не выезжала в свет и двух десятков раз, а можно было уже услышать (будь в комнате кто-то еще кроме Пипина, спаниеля), как она спрашивает себя:

– И что, что, черт побери, со мной?

Случилось это во вторник, 16 июня 1712 года; она только что вернулась с большого бала в Арлингтон-хаус; в небе стоял рассвет, она стягивала с себя чулки.

– Хоть бы и вовсе ни души больше не встречать! – крикнула Орландо и ударилась в слезы. Поклонников у нее была тьма. А вот жизнь, которая, согласитесь, имеет для нас некоторое значение, ей как-то не давалась. – Разве это, – спрашивала она (но кто ей мог ответить?), – разве это называется жизнь?

Спаниель в знак сочувствия поднял переднюю лапку. Спаниель лизнул Орландо языком. Орландо его погладила рукой. Орландо поцеловала спаниеля. Короче говоря, меж ними царило полнейшее согласие, какое только может быть между собакой и ее хозяйкой, и, однако, мы не станем отрицать, что немота животных несколько обедняет общение. Они виляют хвостом; они припадают к земле передней частью тела и задирают заднюю; они кружатся, прыгают, завывают, лают, пускают слюни; у них бездна собственных церемоний и тонкой выдумки, но все это не то, раз говорить они не умеют. В этом же ее разлад, думала она, тихонько опуская спаниеля на пол, с важными господами в Арлингтон-хаус. Эти тоже виляют хвостом, кланяются, кружатся, прыгают, завывают, пускают слюни, но говорить они не умеют.

– За все эти месяцы, что я вращаюсь в свете, – говорила Орландо, волоча через комнату

один чулок, – я ничего не услышала такого, чего не мог бы сказать Пипин. «Мне холодно. Мне весело. Мне хочется пить. Я поймал мышонка. Я зарыл косточку. Пожалуйста, поцелуй меня в нос». Но этого маловато.

Как перешла она за столь короткий срок от упоения к негодованию, мы можем только попытаться объяснить, предположив, что та таинственная смесь, какую мы называем обществом, сама по себе не хороша и не плоха, но пропитана неким хоть и летучим, но крепким составом, либо вас пьянящим, когда вы считаете его, как считала Орландо, упоительным, либо причиняющим вам головную боль, когда вы считаете его, как считала Орландо, мерзким. В том, что здесь уж такую важную роль играет способность говорить, мы себе позволим усомниться. Порой безмолвный час нам милее всех других; блистательнейшее остроумие может нагонять неопишумую скуку.

Орландо сбросила второй чулок и легла в постель в самом гадком настроении, твердо решив навсегда покинуть общество. Но снова она, как скоро оказалось, опрометчиво поспешила с выводами. Ибо наутро среди приехавших приглашений она обнаружила на своем столике карточку одной влиятельнейшей дамы, графини Р. Поскольку ночью Орландо решила никогда более не являться в обществе, мы можем объяснить ее поведение (она срочно послала лакея в дом графини Р. сказать, что почтет за великую честь познакомиться с ее сиятельством) лишь тем, что в ней еще не отбродила отравы медвяных слов, закапанных ей в ухо капитаном Николасом Бенедиктом Бартолузом на палубе «Влюбленной леди», когда она плыла по Темзе. «Аддисон, Драйден, Поп», – сказал он, указывая на «Дерево Какао», и Аддисон, Драйден, Поп с тех пор заклитием звенели у нее в мозгу. Кто бы мог поверить в подобный вздор, а вот поди ж ты. Опыт с Ником Грином ничему ее не научил. Такие имена сохраняли над нею прежнюю власть. Во что-то, очевидно, нам надо верить, и раз Орландо, как мы уже говорили, не верила в обычные божества, она и обращала свою веру на великих людей, однако же с разбором. Адмиралы, воины, государственные мужи – нимало ее не занимали. Но самая мысль о великом писателе так разжигала ее веру, что она чуть ли не полагала его невидимым. Впрочем, ее вел безошибочный нюх. Вполне верить можно, наверное, лишь в то, чего не видишь. Мгновенно пойманные взглядом с палубы корабля великие люди казались ей видением. Она даже сомневалась, фарфоровая ли была та чашка, бумажная ли газета. Лорд О. заметил как-то, что вчера обедал с Драйденом, – она ему просто-напросто не поверила. Ну а гостиная леди Р. слыла прихожей к приемной зале гениев: то было место, где мужчины и женщины сходились, чтоб размахивать кадиллом и петь псалмы перед бюстом гения в стенной нише. Иной раз сам Бог на минуточку их удостаивал своим присутствием. Лишь ум был пропуском на вход сюда, и здесь (по слухам) не говорилось ничего такого, что не было бы остроумным.

А потому Орландо переступала порог гостиной леди Р. с великим трепетом. Посвященные уже расположились полукругом возле камина. Леди Р., пожилая смуглая дама в черной кружевной, накинутой на голову мантилье, сидела в просторном кресле посредине. Таким образом она, несмотря на тугоухость, легко следила за беседой направо и налево от нее. Направо и налево от нее сидели знатнейшие, достойнейшие мужчины и женщины. Каждый мужчина, говорили, побывал в премьер-министрах, каждая женщина, шептали, в любовницах у короля. Одним словом, все были блистательны, все знамениты. Орландо склонилась в глубоком реверансе и молча села... Три часа спустя она склонилась в глубоком поклоне и ушла.

Но что же, спросит несколько обиженный читатель, что же происходило в промежутке? Ведь за три часа такие люди наговорили, верно, умнейших, глубочайших, интереснейших вещей! Казалось бы. Но на самом деле они не сказали ничего. И это, кстати, общая черта всех самых блистательных собраний, какие только знал мир. Старая мадам дю Деффан³³ проговорила с приятелями пятьдесят лет кряду. А что осталось? От силы три остроумных замечания. А значит, нам остается предполагать, что или ничего не говорилось, или ничего

не говорилось остроумного, или три этих остроумных замечания распределялись на восемь тысяч двести пятьдесят вечеров, так что на каждый вечер приходилось не так уж много остроумия.

Правда – если применительно в такой связи такое слово, – пожалуй, заключается в том, что подобные группы пребывают во власти волхвства. Хозяйка – наша современная Сивилла. Завораживающая гостей колдунья. В одном доме гость считает себя счастливым, в другом остроумным, в третьем – глубоким. Все это иллюзия (вовсе не в осуждение будь сказано, ибо иллюзии – самая ценная и необходимая на свете вещь, и та, кто умеет их создать, – просто благодетельница рода человеческого), но, поскольку общеизвестно, что иллюзии разбиваются от столкновения с реальностью, никакое реальное счастье, никакое истинное остроумие, никакая истинная глубина недопустимы там, где царит иллюзия. Этим-то и объясняется, почему мадам дю Деффан не произнесла больше трех остроумных вещей за пятьдесят лет. Произнеси она их больше, кружок бы ее распался. Острота, слетая с ее уст на гладь беседы, ее сминала, как мнет пушечное ядро фиалки и ромашки. А когда она произнесла свое знаменитое *Mot de Saint Denis* ³⁴, тут уж опалилась трава. Иллюзия разбилась. Сменилась обескураженностью. Замерли речи. «Довольно, мадам, пощадите, только не это!» – в один голос вскрикнули друзья. И она покорилась. Почти семнадцать лет она не произносила ничего знаменательного, и все шло гладко. Прелестный покров иллюзии нерушимо окутывал ее кружок, как он окутывал и кружок леди Р. Гости считали себя счастливыми, считали себя остроумными, считали себя глубокими, а раз они сами так считали, то наблюдатели со стороны и подавно, и молва твердила, что ничего нет увлекательнее сборищ у леди Р.; все завидовали тем, кто был к ней вхож; те, кто был к ней вхож, сами себе завидовали, потому что им завидовали другие; и казалось, конца этому не будет, пока не случилось кое-что, о чем мы сейчас расскажем.

Когда Орlando в третий, что ли, раз явилась к леди Р., случилось одно происшествие. Будучи во власти иллюзии, она себя воображала слушательницей острейших эпитграмм, когда на самом деле старый генерал Б. со многими подробностями сообщал о том, как подагра, оставив левую его ногу, переметнулась в правую, а мистер Л. при упоминании каждого имени вставлял: «Р.? О! Я его знаю как облупленного! Т.? Мой закадычный друг. П.? Две недели у него гостил в Йоркшире», и (что значит иллюзия!) это звучало самыми находчивыми репликами и проникновеннейшими наблюдениями над человечеством, исторгая из присутствующих взрывы смеха; но тут дверь отворилась, и вошел низенький господин, имени которого не разобрала Орlando. Скоро ее охватило непонятное чувство неловкости. Судя по лицам окружающих, они испытывали то же. Один господин сказал, что от окон дует. Маркиза С. опасалась, как бы под диван не забралась кошка. Будто после сладкого сна глаза их медленно раскрылись и наткнулись на грязное одеяло, на обшарпанный рукомойник. Будто медленно улетучивались пары драгоценного вина. Генерал Б. еще рассказывал, мистер Л. еще вспоминал. Но все очевидней становилось, какая красная шея у генерала, какая у мистера Л. большая лысина. Что же до слов – ничего скучнее и пошлей нельзя было себе представить. Все ерзали в креслах, и украдкой зевали те, у кого были веера. Наконец леди Р. хлопнула своим по ручке кресла. Оба господина умолкли.

И тогда низенький господин сказал,

Далее он сказал,

И наконец сказал... 35

Во всем этом, невозможно отрицать, были истинное остроумие, истинная мудрость, истинная глубина. Собравшиеся были повержены в смятение. Одно такое высказывание и то бы куда как скверно. Но три, подряд – ив тот же вечер! Никакое общество подобного не переживает.

– Мистер Поп, – сказала старая леди Р. срывающимся от саркастического негодования

голосом, – вы изволили блистать.

Мистер Поп вспыхнул до корней волос. Никто не произнес ни звука. Минут двадцать все сидели в гробовом молчании. Потом один за другим встали и выскользнули за дверь. Было сомнительно, что они сюда вернутся после подобного пассажа. По всей Саут-Одли-стрит, слышно было, факельщики выкликали кареты. Дверцы хлопали, отъезжали экипажи. Орландо оказалась на лестнице рядом с мистером Попом. Его щуплая, гнутая фигурка сотрясалась от разных чувств. Стрелы негодования, ярости, ума и ужаса (он дрожал как осиновый лист) сыпались из глаз. Он напоминал какую-то скрюченную рептилию с горящим топазом во лбу. Но, странно сказать, неслыханный вихрь чувств подхватил злополучную Орландо. Разочарование, столь полное, как только что ей выпавшее на долю, повергает в смятение ум. Все обостряется десятикратно, все предстает как бы нагишом. Такие миги чреватые для нас страшными опасностями. Женщины принимают монашество, мужчины – церковный сан в такие миги. В такие миги богачи отписывают свои богатства, счастливицы перерезают себе горло разделочным ножом. Орландо сейчас бы с радостью все это проделала, но ей представилась возможность поступить еще отчаянней. И она пригласила мистера Попа к себе домой.

Ибо не отчаянность ли – войти безоружным в пещеру льва, не отчаянность – пуститься в углой лодчонке по Атлантике, не отчаянность – скакать на одной ножке по куполу Святого Павла? Еще большая отчаянность – войти в дом наедине с поэтом. Поэт – вместе лев и океан. Первый нас гложет, второй нас топит. Если нас не одолеют зубы, нас слижут волны. Человек, способный разбить иллюзию, – вместе поток и зверь. Иллюзия для души – как атмосфера для земного шара. Разбейте этот нежный воздух – и растения погибнут, померкнут краски. Земля под нашею ногою – выжженная зола. Мы ступаем по опоке, раскаленный камень жжет нам ноги. Правда обращает нас в ничто. Жизнь есть сон. Пробужденье убивает. Тот, кто нас лишает снов, нас лишает жизни... (и так далее и тому подобное страниц на шесть, если изволите, но из-за нестерпимо нудного стиля лучше здесь поставить точку).

Тем не менее, в силу всего сказанного, Орландо должна была превратиться в горстку пепла ко времени, когда карета подкатила к дому в Блэкфрайерз. Если же она была жива (хоть, разумеется, изнурена), то исключительно вследствие обстоятельства, к которому мы привлекали внимание читателя несколько выше. Чем меньше мы видим, тем больше верим. А улицы между Мэйфэр и Блэкфрайерз в те поры очень плохо освещались. Разумеется, освещение стало куда лучше, чем при королеве Елизавете. При Елизавете запоздалый путник мог лишь звездам да случайному огню ночного стража доверить свое спасение от рытвин на Парк-лейн или в кишевших свиньями дубравах по Тотнем-корт-роуд. Но до наших современных ухищрений и при Анне еще не додумались. Правда, фонарные столбы с керосиновыми лампами стояли почти через каждые сто ярдов, но в промежутках тьма была – хоть глаз выколи. И таким образом, десять минут Орландо с мистером Попом ехали в кромешной тьме, потом с полминуты на свету. Это очень странно влияло на Орландо. Едва мерк свет, на нее изливался восхитительный бальзам. «Какая честь для молодой женщины сидеть в карете с мистером Попом, – начинала она думать, разглядывая очерк его носа. – Я редкая счастливица. Вот, совсем рядом – да, я даже чувствую, как его коленная подвязка врезается в мое бедро – сидит умнейший человек во всех владениях его величества. Грядущие века будут о нас думать с любопытством и бешено мне завидовать». Тут снова набежал фонарь. «Какая же я дура! – думала она. – Ну что такое слава! Грядущие века даже не вспомнят про меня, да и про мистера Попа. И что такое века, в сущности? Что такое – мы?» И они покатали по Беркли-сквер как два случайно встретившихся слепых муравья, решительно без общих интересов, ощупью пробирающихся по черной пустыне. Орландо содрогнулась. Но вот их снова накрыло мраком. Иллюзия воскресла. «Как благороден его лоб, – думала она (ошибкой принимая в темноте бугор подушки за лоб мистера Попа). – Какой гениальный груз он несет! Какой в нем ум, какая острота, какая правда! Да на эти несметные сокровища многие бы с радостью променяли жизнь! Лишь ваш свет горит веки.

Если бы не вы, человечество заплуталось бы во тьме (тут карета сотряслась, подпрыгнув на колдобине Парк-лейн). Без гения мы обездолены, мы пропали. О самый светлый, августейший луч», – восторженно адресовалась она к бугру подушки, но тут они въехали в круг света на Беркли-сквер, и она заметила свою ошибку. У мистера Попа был лоб как лоб, самый обыкновенный. «Противный, – подумала она, – как вы меня надули! Я приняла этот бугор за ваш лоб. Когда видишь вас воочию – до чего же вы жалки, до чего плюгавы! Увечного, хилого – ну как мне вас такого обожать, скорей жалеть вас надо, а презирать – и того естественней».

Снова они въехали во тьму, и гнев ее угас, ибо она видела перед собой одни поэтов коленки.

«Какая же я противная сама, – рассуждала она, очутившись в крошечном мраке, – положим, вы не хороши, но я-то, я-то! Вы меня питаете, защищаете, отпугиваете диких зверей, страшаете поганых, снабжаете меня одеждой из шелковичной пряжи, коврами из овечьей. Да, положим, я сама хочу вам поклониться, но не вы ли мне даровали свой образ, утвердив его в небесах? Не рассыпаны ли всюду свидетельства вашей заботы? Так не приличней ли ее принимать скромно, благородно и послушно? Да, надо радостно чтить вас, служить вам и подчиняться».

Тут они поравнялись с высоким фонарем на углу того, что ныне превратилось в Пиккадилли-серкус. Свет ударил ей в глаза, и она увидела, кроме нескольких опустившихся существ своего собственного пола, двух жалких пигмеев на забытой, богооставленной земле. Оба были голые, оба неприкажные, незащитные. Ни один ничем не мог помочь другому. Хоть за себя бы постоять. Глядя прямо в лицо мистеру Попу, «напрасно, – думала Орlando, – напрасно вы полагаете, что можете меня защитить, я же возомнила, что могу вам поклоняться. Свет правды бьет нам в лица, свет правды нам обоим не к лицу».

Все это время они, конечно, мило беседовали, как водится у людей хорошего общества, о нраве королевы, подагре премьер-министра, покуда экипаж, ныряя из света в темь по Хей-маркету, по Стрэнду, по Флит-стрит, докатился наконец до дома в Блэкфрайерзе. Уже светлели темные провалы меж фонарей, тускнели сами фонари, – короче говоря, вставало солнце, и, омытая тем ровным, но смутным светом летнего утра, в котором все уже различается, но еще не различается отчетливо, Орlando с поддерживающим ее мистером Попом высадились из кареты и пропустила мистера Попа в дом, изящным реверансом безупречно отдав дань светскому приличию.

Из сказанного выше не следует, однако, заключать, что гениальность (эта болезнь, кстати, ныне изгнана с Британских островов; покойный лорд Теннисон был, кажется, последним, страдавшим ею) светит ровно, постоянно, ведь тогда бы мы всегда все видели отчетливо и, того гляди, испепелились. Скорей она напоминает маяк, который пошлет один луч и на какое-то время гаснет; только гениальность куда капризней в своих проявлениях и может выпустить сразу шесть-семь лучей (как мистер Поп в тот вечер), а потом впасть в темноту на год или навек. А значит, эти лучи отнюдь не освещают путь и в темные свои периоды гениальные люди ничуть не отличаются от прочих.

И, говоря по совести, Орlando просто повезло (несмотря на разочарование), потому что, угодив в компанию гениев, она очень скоро обнаружила, что они, в сущности, ничуть не отличаются от других людей. Аддисон, Поп, Свифт, оказывается, обожали чай. Имели пристрастие к беседам. Питали слабость к гротам. Не гнушались титулов. Упивались лестью. Собирали цветные стекляшки. Сегодня облачались в вишневого тона, завтра в серые. У мистера Свифта была прелестная ротанговая трость. Мистер Аддисон вспыскивал носовые платки духами. Мистер Поп страдал мигренями. Никто из них не брезговал злословием. Не был чужд зависти. (Мы только наскоро набрасываем кое-какие мысли, пронесившиеся в голове Орlando.) Сначала она устыдилась, что примечает такую дребедень, завела было тетрадь, чтоб записывать за ними достопамятные суждения, но тетрадь осталась нетронутой. И все-таки она воодушевилась: стала рвать приглашения на балы оставляла вечера свободными, ждала визитов мистера Попа, мистера Аддисона, мистера Свифта – и так

далее и так далее. Если читатель тут же обратится к «Похищению локона»³⁶, «Спектейтору»³⁷ и «Путешествию Гулливера», он в точности поймет, что эти таинственные слова означают. Право же, биографы и критики могли бы поберечь свои усилия, если бы читатели вняли нашему совету. Ведь когда мы читаем:

Дианы ль заповедь та дева разобьет,
Иль повредит коньками ломкий лед,
Что запятнает – честь или наряд,
Про храм забудет иль про маскарад,
Что потеряет – сердце иль кулон³⁸,

мы так и видим, что язык мистера Попа трепетал, как у ящерицы, что взор его горел, рука тряслась, видим, как он любил, как лгал, как он страдал. Короче говоря, все тайны авторской души, весь опыт жизни, все качества ума отчетливо запечатлены в его работе, а мы еще хотим, чтоб критики рассуждали о том, о сем распространялись биографы. Людям некуда время девать – вот и вся причина этого кошмарного новообразования.

Ну так вот, прочитав несколько строк из «Похитения локона», мы ясно понимаем, отчего Орландо в тот вечер так встрепелась, так ужаснулась, отчего так разгорелись у нее глаза и щеки.

Затем постучалась миссис Нелли и доложила, что мистер Аддисон дожидается ее сиятельства. Мистер Поп вскочил с кривой усмешкой, откланялся и проковылял за дверь. Вошел мистер Аддисон. Покуда он усаживается, мы прочитаем следующий отрывок из «Спектейтора»:

«Женщину считаю я пленительным романтическим созданием, которое мехами и перьями, жемчугами и бриллиантами, металлами и шелками должно украшать. Пусть рысь слагает к ее ногам, жертвуя на палантин, свою шкуру; пусть павлин, попугай и лебедь остаются данниками ее муфты; пусть вся природа служит к украшению существа, являющего собой венец творения. Все это я одобряю, но что до нижней юбки, о которой идет речь, я не могу, я не желаю допускать ничего подобного»³⁹.

И этот господин – треуголка и все такое прочее – у нас как на ладони. Вглядимся-ка попристальней в магический кристалл. Разве не ясен нам автор до последней морщинки на чулке? Не открылись ли нам каждый изгиб, каждая закорючка его ума, и ласковость его, и учтивость, и тот факт, что он женится на графине и умрет окруженный общим почитанием? Все совершенно ясно. И не успел еще мистер Аддисон отговорить свое, как раздается дикий стук в дверь и мистер Свифт, со свойственной ему неудержимостью, влетает без доклада. Одну минуточку, где у нас «Путешествие Гулливера»? Ага, вот! Прочтем отрывок из путешествия к гуигнгнмам:

«Я наслаждался завидным здоровьем телесным и покойным расположением духа; я не находил предательства или непостоянства друга, ни коварства открытого или тайного врага. Мне не надобно было подкупать, подольщаться или клянчить, ни искать покровительства великого человека и его прихлебателей. Я не нуждался в защите от мошенничества или оскорблений; не было тут врача, который бы губил мое тело; ни законника, который бы пускал по ветру мое состояние; ни доносчика, который бы уловил меня на слове и поступке или за деньги измышлял на меня клеветы; не было ни зоилов, ни цензоров, ни зашателей, ни карманников, громил, взломщиков, адвокатов, сводников, шутов, шулеров, политиков, умников, зловещих скучных болтунов...»⁴⁰ Но довольно, стоп, остановите этот словесный

36

37

38

39

40

град, не то вы нас уморите, да и себя заодно! Что может быть понятней этого яростного человека? Какая грубость и какая чистота, какая резкость и какая нежность; презирая целый свет, на каком ребячьем языке лепетал он с маленькой девочкой, и умрет он – какое уж сомнение? – в доме для умалишенных.

И всех их Орландо поила чаем, а то в хорошую погоду увозила всех в свой загородный замок и там по-царски принимала в Круглой гостиной, увешанной их портретами – в кружок, чтоб мистер Поп не мог сказать, что мистер Аддисон висит раньше него, или наоборот. Они, конечно, были чрезвычайно остроумны (но все их остроумие – в их книгах) и обучали ее самой главной примете стиля, а именно естественности тона – качеству, которому никто не слыхавший их не может подражать, ни даже Николас Грин при всем своем искусстве, потому что оно рождается из воздуха; как волна, разбивается о мебель и откатывает, и тает, и потом его ни за что не поймать, тому особенно, кто полвека спустя тужится и наостряет уши. Они ее обучали самим ритмом и модуляциями голосов в разговоре, так что стиль ее слегка изменился, она сочинила несколько очень порядочных, остроумных стихов и набросков в прозе. И она рекой лила вино за обедом и подсовывала им под тарелки банкноты, которые они любезно принимали; и, принимая их посвящения, польщенная такой честью, она считала себя отнюдь не в накладе.

Так время шло, и часто можно было слышать, как Орландо обращалась сама к себе с нажимом, который мог бы насторожить внимательного слушателя: «Ну и ну! Что за жизнь!» (Она все еще пребывала в поисках этого товара.) Скоро, однако, обстоятельства вынудили ее пристальней взглянуть в предмет. Как-то она поила чаем мистера Попа, который, как всякий может заключить из вышецитированных строк, сидел, весь предупредительность, сверкая взором, скрюченный в кресле с нею рядом.

«Господи, – думала она, берясь за сахарные щипцы, – как станут мне завидовать женщины грядущих веков! И все же...» Она запнулась, мистер Поп нуждался в ее внимании. И все же – кончим мы ее мысль за нее, – когда люди говорят «как грядущие века станут мне завидовать», можно с уверенностью сказать, что в настоящее время им очень не по себе. Так ли уж удалась эта жизнь, такой ли была бурной, лестной, славной, какой предстает она под пером мемуариста? Во-первых, Орландо терпеть не могла чай; во-вторых, интеллект, пусть и божественный, и достойный всяческого преклонения, имеет обычай ютиться в самом утлом сосуде и часто, увы, варварски теснит прочие качества, так что нередко там, где Ум особенно велик, Сердцу, Чувствам, Великодушию, Щедрости, Терпимости и Доброте просто дышать нечем. И потом – какого высокого мнения поэты о самих себе; и потом – какого низкого обо всех других; потом – эта злоба, оскорбления, зависть и остроумные отповеди, в которых они невылазно погрязают; и как пространно они выражают все это; и как жадно требуют нашего сочувствия, – все перечисленное, скажем шепотком, чтоб мудрецы не подслушали, превращает разливание чая в куда более рискованное и трудное предприятие, чем обыкновенно полагают. И вдобавок (опять мы шепчем, чтобы нас не подслушали женщины) у всех мужчин есть одна общая тайна; лорд Честерфилд ⁴¹ о ней проговорился сыну под величайшим секретом: «Женщины – всего-навсего большие дети... Умный мужчина ими забавляется, играет, льстит им и балует их», и это, поскольку дети вечно слышат то, что не предназначено для их ушей, а иногда и вырастают, как-то, верно, просочилось, так что церемония разливания чая – довольно двусмысленная церемония. Женщина прекрасно знает, что, хотя великий ум ее задаривает своими стихами, хвалит ее суждения, домогается ее критики и пьет ее чай, это никоим образом не означает, что он уважает ее мнение, ценит ее вкус или откажет себе в удовольствии, раз уж запрещена рапира, проткнуть ее насквозь своим пером. Все это – опять шепнем тихонько – теперь каким-то манером, вероятно, просочилось; и, хотя сливочник парит над столом и распялены сахарные щипцы, иные дамы слегка нервничают, поглядывают в окно, позевывают и шумно плюхают сахар – как вот сейчас Орландо – в чай мистера Попа. Никогда ни один смертный не был так готов

заподозрить оскорбление и так скор на месть, как мистер Поп. Он повернулся к Орландо и тотчас ее огрел сырым наброском некоей известной строки из «Женских характеров» 42. Потом-то уж он, разумеется, навел на них лоску, но и в первоначальном виде они разили наповал. Орландо отвечала реверансом. Мистер Поп с поклоном ее покинул. Чтобы охладить щеки, будто исхлестанные низеньким господином, Орландо побрела к орешнику в глубине сада. Скоро легкий ветерок сделал свое дело. К изумлению своему, она обнаружила, что одиночество приносит ей несказанную отраду. Она смотрела, как снуют по реке веселые лодки. Вид их, конечно, ей привел на память кое-какие происшествия из прошлого. В тихой задумчивости она уселась под ветлой. Так она и сидела, пока на небе не выступили звезды. Тогда она встала, потянулась и пошла в дом, к себе в спальню, и заперла за собою дверь. Открыла шкаф, где еще во множестве висели одежды, которые нашивала она юным светским львом, и выбрала черный бархатный костюм, щедро расшитый венецианскими кружевами. Конечно, он чуть-чуть вышел из моды, зато сидел как влитой, и она в нем выглядела идеалом юного вельможи. Повертевшись перед зеркалом, убедаясь, что стреноживаемые юбками ноги ее не отвыкли от свободы, она выскользнула из дому.

Была прелестная ночь раннего апреля. Мириады звезд, сливаясь с ущербною луной, в свою очередь усиленной лучами фонарей, как нельзя выгодней освещали лица прохожих и архитектуру мистера Рена. Все было до странности нежным, будто, готовое вот-вот совсем раствориться, вдруг застыло и ожило под воздействием какой-то серебряной капли. Ах, если бы разговор бывал таким, думала Орландо (предавшись глупым мечтам), если бы общество было таким, такой была бы дружба, такой была бы любовь. Ведь Бог знает почему, стоит нам извериться в человеческих отношениях – какое-то случайное расположение сараев и лип или, скажем, тележки и стога вдруг нас дарит безупречнейшим символом того, что недостижимо, и снова мы ударяемся в поиски.

Занятая этими соображениями, она ступила на Лестер-сквер. Здания обладали дымчатой, но строгой симметрией, днем вовсе им не свойственной. Очерки крыш и труб четко прорисовывались на искусно затушеванном небе. Посреди Лестер-сквер, на скамье под платаном, пригорюнясь, уронив одну руку вдоль тела, а другую забыв на коленях, воплощением грации, скорби и простоты сидела молодая женщина. Орландо широким взмахом шляпы приветствовала ее, как положено светскому человеку приветствовать даму на людях. Молодая женщина подняла голову. Голова была самой изысканной формы. Молодая женщина подняла взор. На Орландо излилось сверкание, какое видишь иногда на чайниках, но очень редко на человеческом лице. Из-под серебряной этой глазури она смотрела на него (для нее же он был мужчиной) с мольбой, надеждой, трепетом, страхом. Она встала, приняла протянутую руку. Ибо – надо ли еще разжевывать? – она принадлежала племени, которое по ночам драит свой товар и раскладывает на прилавке в ожидании покупателя потароватей. Она отвела Орландо в комнату на Джерард-стрит, свое обиталище. Легонько, но как бы ища защиты повиснув на руке Орландо, она расшевелила в ней присущие мужчине чувства. Орландо выглядела, чувствовала и говорила как мужчина. И однако, хоть сама совсем недавно стала женщиной, она подозревала, что эта робость жестов, спотыкающиеся ответы, самая возня с никак не попадавшим в скважину ключом, колыхание складок, бессилие ладоней – все это напускалось в угоду мужской рыцарственности спутника. Они поднялись по лестнице, и труды, положенные бедняжкой на то, чтобы украсить свою комнату и скрыть тот факт, что другой у нее нет, ни на мгновение не обманули Орландо. Обман ей претил; правда вызывала жалость. Но одно просвечивало сквозь другое и вызывало в Орландо такую странную смесь чувств, что она сама не знала, смеяться ей или плакать. Тем временем Нелл – так назвалась девушка – расстегивала перчатки, тщательно прятала большой палец на левой руке, взывавший к штопке; потом ушла за ширму и там, вероятно, румянилась, пудрилась, приводила в порядок платье, повязывала вокруг шеи свежий платочек, как водится, ублажая при этом поклонника

немолчной трескотней, хотя Орландо, по тону голоса, могла бы поклясться, что мысли ее далеко. Наконец она вышла в полной готовности... и тут-то Орландо не выдержала – она отбросила весь свой маскарад и без обиняков призналась, что она женщина.

И Нелл разразилась таким громким хохотом, что его было слышно, наверное, на другой стороне улицы.

– Ну, милочка, – сказала она, слегка оправаясь, – сказать по правде, я рада-радешенька. Вот те крест (просто удивительно, как, узнав, что они принадлежат к одному полу, она в два счета отбросила свою жалостную повадку), вот те крест, мне сегодня ихнего брата не надо – хоть меня озолоти. Я, знаешь ли, в жуткую передрыгу влипла.

После чего, раздувая огонь в камине и помешивая пунш, она поведала Орландо всю историю своей жизни. Поскольку в настоящее время нас занимает жизнь Орландо, мы не станем пересказывать приключения другой дамы, но определенно одно: никогда еще часы не пролетали для Орландо стремительней да и веселей, хотя в мистрис Нелл ни грана не было остроумия, а когда в разговоре всплыло имя мистера Попа, она невинно осведомилась, не родственник ли он куаферу с той же фамилией на Джермин-стрит. И однако – таково уж обаяние непринужденности и притягательность красоты, – речи бедной девочки, пересыпанные вульгарнейшими уличными словечками, как вино, веселили Орландо после приевшихся изысканных фраз, и она принуждена была себе сознаться, что в язвительности мистера Попа, снисходительности мистера Аддисона и секретях лорда Честерфилда было что-то такое, что сводило на нет ее удовольствие от общества умников, как бы глубоко ни продолжала она чтить их творения.

У этих бедных созданий, поняла Орландо, когда Нелл привела Пру, а Пру привела Китти, а Китти – Розу, было свое общество, которого они избрали ее членом. Каждая рассказывала историю приключений, приведших ее к нынешнему образу жизни. Некоторые были побочными дочерьми графов, одна же стояла куда ближе, чем можно было предположить, к особе самого короля. Никто из них не опустил и не обеднел настолько, чтобы уж не иметь ни кольца на пальце, ни носового платочка в кармане, заменявшего родословную. И они сходились вокруг пуншевой чаши, которую Орландо почитала долгом своим щедро наполнять, и сколько тут рассказывалось волнующих историй, сколько делалось забавных наблюдений! Ведь невозможно отрицать, что, когда собираются женщины, – но тсс! – они всегда следят, чтоб были заперты двери и ни единое словцо не угодило в печать. У них одно желание, – но снова тсс! – не мужские ли там шаги на лестнице? У них одно желание, хотели мы сказать, когда вошедший господин буквально вырвал у нас слово изо рта. Женщины не имеют желаний, говорит этот господин, входя в гостиную Нелл, одно сплошное кривлянье. Без желаний (она обслужила его, и он удалился) их разговор ни для кого не может представлять интереса. «Общеизвестно, – заявляет мистер С.У., – что не возбуждаемые противоположным полом женщины не знают, о чем друг с другом разговаривать. Когда они одни, они не разговаривают, они царапаются». А если разговаривать они не могут, и невозможно царапаться без передышки, и общеизвестно (мистер Т. Р. это доказал), «что женщины не способны ни на какую привязанность к представительницам своего же пола и питают друг к другу глубокую неприязнь», – нам остается гадать, что же делают женщины, когда сходятся вместе?

Поскольку данный вопрос не из тех, какие могут занять умного мужчину, давайте-ка, пользуясь непринадлежностью всех историков и биографов ни к какому полу, мы его и опустим, лишь сообщив, что Орландо наслаждалась женским обществом, и предоставляя джентльменам доказывать, раз уж им так хочется, что это невозможно.

Но давать точный и полный отчет о жизни Орландо этой поры становится все трудней. Ощупью пробираясь по плохо освещенным, плохо мощеным, затхлым задворкам тогдашней Джерард-стрит и Друри-лейн, мы то ловим быстрый промельк Орландо, то снова теряем из виду. Задача опознавания осложняется еще и тем, что ей тогда, кажется, нравилось то и дело, переодеваясь, менять свой облик. И в современных мемуарах она часто выступает как лорд такой-то, который на самом деле был ее кузеном; ему приписывали ее щедрость, и

его называли автором написанных ею поэм. Выступать в этих разных ролях ей, очевидно, не стоило большого труда, ибо пол ее менялся куда чаще, чем даже могут вообразить те, кто никогда подобным образом не переодевался; без всякого сомнения, она собирала и двойной урожай, жизненные удовольствия умножались, опыт разнообразился. То в бриджах – сама прямота и честь, – то сама обольстительность в юбках, она равно у обоих полов пользовалась успехом. 7 в.

Мы могли бы бегло очертить, как проводила она утро в неопределенного пола китайском кимоно, среди своих книг; далее принимала нескольких посетителей (а у нее их были сотни) в том же платье; потом прогуливалась по саду, подрезала орешник – тут шли в ход коротенькие бриджи; потом переодевалась в цветастую тафту – наряд в самый раз для того, чтобы отправиться в Ричмонд и получить предложение руки и сердца от какого-нибудь знатного вельможи; а там – обратно в город, облачиться в гороховый сюртук, как у стряпчего, и понаведаться в конторах, как продвигаются ее дела, потому что состояние ее час от часу таяло, а процессы были ничуть не ближе к завершению, нежели сто лет назад; и вот наконец наступала ночь, и чаще всего – благородный вельможа с головы до пят – она бродила по улицам в поисках приключений.

Возвращаясь после своих вылазок – каких только о них не рассказывалось историй, например, что она дралась на дуэли, служила капитаном на судне его величества, голышом, под взглядами изумленной публики, танцевала на балконе, бежала с некой дамой в Нидерланды, куда за ними последовал и дамин муж (вопрос о том, правдивы эти истории или нет, мы здесь не будем рассматривать), – так вот, возвращаясь после каких-то там своих занятий, она иногда норовила пройти под окном кофейни и, невидимая, наблюдала умников, по жестам их догадываясь, какие остроумные, мудрые, злые речи они произносят, ни слова из них не слыша, – впрочем, надо думать, это к лучшему; а однажды простояла целых полчаса, глядя, как три тени на гардинах пьют вместе чай в одном доме на Болт-корт.

Нельзя и вообразить пьесы более увлекательной. Ей хотелось крикнуть: «Браво! Браво!» Что за великолепная то была драма, что за страница, вырванная из толстенного тома жизни человеческой! Маленькая тень, надувая губы, ерзала на стуле, суетливо, раздраженно, навязчиво; совала в чашку палец, определяя, сколько там налито чая, сутулая женская тень – ибо была слепа; и тень с римским профилем раскачивалась в огромном кресле – как странно он заламывал пальцы, как тряс головой из стороны в сторону, какими жадными глотками заглатывал чай. Доктор Джонсон, мистер Босуэлл и миссис Уильямс ⁴³ – вот имена теней. Орландо была настолько захвачена зрелищем, что даже забыла подумать о том, как станут ей завидовать грядущие века, хотя, очень возможно, в данном случае они бы и стали. Смотреть и смотреть – ей этого было довольно. Наконец мистер Босуэлл встал. С подчеркнутым небрежением он поклонился старухе. Зато как смиренно склонился он перед огромной раскачивающейся тенью, которая, поднявшись во весь свой могучий рост, произнесла великолепнейшую из фраз, когда-нибудь слетавших с уст человеческих, – так, по крайней мере, думалось Орландо, ни слова не слышавшей из того, что говорили три тени, попивая чай.

И вот как-то ночью она вернулась после такой прогулки и поднялась к себе в спальню. Сняла расшитый камзол и, стоя в бриджах и одной рубашке, стала смотреть в окно. Странное разлитое в воздухе беспокойство мешало ей лечь в постель. Была зимняя морозная ночь, город мрел под белой дымкой, и со всех сторон открывался великолепный вид. Орландо узнавала собор Святого Павла, Тауэр, Вестминстерское аббатство и все шпили, все купола лондонских церквей, отлогие громады его валов, просторные дворцовые своды. На севере плавно взбегал на высоту Хампстед, на западе сливались в сплошное ясное сверкание улицы и площади Мэйфэра. На эту упорядоченную, мирную картину, почти не мигая, смотрели с высоты безоблачных небес звезды. В немыслимо четком, тонком воздухе был узнаваем каждый конек крыши, каждый зонт над дымовой трубой; даже булыжники на мостовой и те

явственно различались один от другого; и Орландо невольно сравнивала этот порядок, эту стройность с путаным и тесным нагромождением жилищ, каким был Лондон в царствование Елизаветы. Тогда, вспоминалось ей, город, если это можно назвать городом, беспорядочно жался к окнам ее дома в Блэкфрайерзе. Звезды отражались в разлегшихся посреди улиц затхлых лужах. Черная тень на углу, где была тогда винная лавка, скорей всего могла оказаться изувеченным трупом. Скольких понаслушалась Орландо этих предсмертных криков во время ночных драк, сидя еще мальчиком у няни на коленях! Орды разбойников, мужчин и женщин, как-то невообразимо сплетаясь, бродили по улицам, горланя дикие песни, блестя кольцами в ушах и зажатými в кулаках ножами. В такие вот ночи, бывало, непроходимые лесные пуши Хампстеда и Хайгейта несусветно путаными контурами вырисовывались в небе... То тут то там, на каком-нибудь холме над Лондоном, нередко торчала большая виселица с пригвожденным к перекладине разлагающимся телом, ибо опасность и беда, похоть и насилие, поэзия и дерьмо кишели по страшным елизаветинским трактам, жужжали и воняли, – Орландо и сейчас еще помнила тот запах знойными ночами – в лачугах, по закоулкам города. Теперь же – она высунулась из окна – все было свет, порядок, безмятежность. Где-то глухо прогремела по бульжной мостовой карета. Орландо услышала дальний крик ночного сторожа: «Ровно двенадцать, морозная ночь». И не успели эти слова слететь с его губ – раздался первый удар полуночи. Тут только заметила Орландо облачко, собиравшееся за куполом Святого Павла. При каждом новом ударе оно росло, и она видела, как оно густеет. В то же время поднялся легкий ветерок, и, когда прозвенел шестой удар, все небо на востоке затянулось прореженной, зыблущейся тьмой, тогда как на западе и на севере небо оставалось ясным. Потом туча поползла на север. Все выше и выше заглатывала она небесные пласты над городом. Только Мэйфэр, по контрасту что ли, еще ослепительней обычного играл огнями. С восьмым ударом рваные пасмы тьмы расползлись над Пиккадилли. Вот стянулись, собрались воедино и с неслыханной скоростью рванулись на запад. На девятом, десятом, одиннадцатом ударе весь Лондон покрыла тьма. На двенадцатом ударе полуночи тьма сделалась кромешной. Тяжкая грозовая туча придавила город. Все было – тьма; все было – неуверенность; все было – смятение. Восемнадцатое столетие миновало; настало девятнадцатое столетие.

ГЛАВА 5

Эта огромная туча, которая вошла не только над Лондоном, но и над всеми Британскими островами в первый день девятнадцатого столетия, стояла в небе (верней, не стояла, ее непрестанно толкали свирепые вихри) так долго, что серьезнейшим образом повлияла на тех, кто жил под ее сенью. Изменился, пожалуй, самый климат Англии. Вечно шел дождь, но проливаясь какими-то короткими ливнями: один уймется, тотчас хлынет другой. Солнце, конечно, светило, но было так опоясано тучами и воздух так пропитался влагой, что лучи тускнели, и вялая лиловатость, зеленоватость и рыжеватость заместили сочные уверенные краски восемнадцатого века. Под этим скучным, мятым навесом блекла зелень капусты, грязнилась белизна снегов. Но мало этого – сырость пробиралась теперь в каждый дом, а сырость – коварнейший враг, ведь солнце еще как-то можно отогнать гардинами, мороз прожарить в камине, а сырость – не то, сырость к нам прокрадывается, пока мы спим; сырость действует тихой сапой, невидимая, вездесущая. От сырости разбухает дерево, покрывается накипью чайник, железо ржавеет и камень гниет. И все это так исподволь, незаметно, что, только уж когда какой-нибудь ящик комода или лопатка для угля рассыплются у нас под рукой, мы заподозрим, бывает, что дело неладно.

Так же украдкой, неуловимо, без объявления точной даты и часа, изменилось устройство Англии – и никто не заметил. А чувствовалось это во всем. Зимостойкий помещик, с удовольствием усаживавшийся, бывало, запивать элем добрый бифштекс в своей

столовой, с классической вальяжностью обставленной, скажем, братьями Адам ⁴⁴, теперь вдруг заоченел. Явились пледы, запускались бороды, брюки стали плотно прихватываться у щиколоток. Ощущение холода в ногах было перенесено на интерьер. Мебель окутали чехлами; не оставили голыми ни столы, ни стены. Существенно изменилась и пища. Были изобретены пышки и оладьи. Послеобеденный портвейн заменился кофеем, кофий повлек за собою гостиные, где его полагалось пить, гостиные привели к застекленным шкафам, застекленные шкафы – к искусственным цветам, искусственные цветы – к каминным полкам, каминные полки – к фортепьянам, фортепья-на – к пению баллад, пение баллад (мы перескакиваем через несколько ступенек) – к несчетному множеству собачонок, ковриков, подушечек, салфеточек, и дом, неизменно поважнев, полностью переменялся.

Вне дома – дальнейшее следствие сырости – плющ разрастался с прежде неслыханной пышностью. Голые же каменные дома тоже задыхались в зелени. Ни один сад, как бы строго ни был он первоначально разбит, не обходился теперь без зарослей, чащоб, лабиринтов. Свет, кое-как проникавший в спальни, где рождались дети, был теперь мутно-зеленый от природы, а свет, пробивавшийся в гостиные, где жили взрослые мужчины и женщины, сочился сквозь лиловый или бурый бархат штор. Но внешними переменами дело не ограничивалось. Сырость лезла внутрь. У мужчин охладели сердца, отсырели мозги. В отчаянном стремлении как-то утеплить чувства применялись одна за другой разнообразные уловки. Любовь, рождение и смерть туго спеленывались красивыми фразами. Мужской и женский пол все больше отдалялись. На откровенный разговор накладывался запрет. Обеими сторонами прилежно пускались в ход околичности, обиняки и утайки. Так же точно, как молодило и плющ пышно разрастались в наружной сырости, и внутри наблюдалось то же плодородие. Жизнь порядочной женщины вся состояла из цепи деторождения. Выйдя замуж восемнадцати лет, она к тридцати имела пятнадцать – восемнадцать детей: уж очень часто рождались двойни. Так возникла Британская империя; и так – ведь от сырости спасу нет, она прокрадывается в чернильницы, не только трухлявит дерево – взбухали фразы, множилось эпитеты, лирика обращалась в эпос, и милый вздор, которого прежде от силы хватало на эссею в одну колонку, теперь заполнял собой энциклопедию в десять – двенадцать томов. Ну а до чего доходили в результате чувствительные души, которые никак не могли всему этому противостоять, свидетельствует нам Евсевий Чабб. В конце своих мемуаров он рассказывает о том, как, намарав однажды поутру тридцать пять страниц ин-фолио «все ни о чем», он прикрутил на чернильнице крышку и отправился побродить по саду. Скоро он завяз в густом кустарнике. Несчетные листья блестели и шуршали у него над головой. Ему казалось, что «прах еще миллионов их давит он своими стопами». Густой дым поднимался от сырого костра в глубине сада. Никакому на свете костру, рассудил он, не совладать с этим изобилием. Куда бы он ни глянул – все пышно зеленело Огурцы «ластились к его ногам». Гигантские головки цветной капусты громоздились ряд за рядом, соперничая в его расстроенном воображении с вязом. Куры непрерывно несли яйца, лишённые определенной окраски. Потом, со вздохом вспомнив собственную плодovitость и плодоносность бедной своей жены Джейн, сейчас в муках разрешавшейся пятнадцатым младенцем, как, спросил он себя, может он упрекать пташек? Он поднял взор к небесам. Не сами ли небеса, или великий фронтиспис Небес, эта вышняя лазурь, говорят о соизволении, потакании, – да что там! – даже о подстрекательстве высших сил? Ведь наверху, зимою и летом, год за годом толпятся, клубятся облака, как киты, рассуждал он, даже как слоны; но нет, ему было не убежать от сравнения, которое ему навязывали сами эти тысячи воздушных акров; все небо, широко раскинувшееся над Британией, было не что иное, как пуховая постель; и неразличимое плодородие сада, и насеста, и спальни со всею точностью там воспроизводилось. Он пошел в комнату, написал выщепитированный пассаж, сунул голову в газовую духовку, и, когда это обнаружилось, его нельзя уже было вернуть к жизни.

Покуда по всей Англии творилось подобное, Орландо преспокойно заточалась в своем

доме в Блэкфрайерзе и прикидывалась, будто климат остается прежним; будто по-прежнему можно брякать все, что взбредет на ум, и расхаживать то в бриджах, то в юбке когда заблагорассудится. Но и ей наконец пришлось признаться себе, что времена изменились. Однажды вечером в первой половине века она катила по Сент-Джеймскому парку в своей старой карете, и тут вдруг солнечному лучу – изредка это случалось – удалось пробиться к земле, походя расцветившая облака странно призматическими тонами. Этот вид, и сам по себе достаточно удивительный после ясных, однообразных небес восемнадцатого столетия, заставил Орландо опустить окно кареты, чтоб лучше его разглядеть. Фламинговые и палевые облака пробудили в ней мысли – приправленные сладкой печалью, доказывающей, что сырость незаметно прокралась уже и в нее – о дельфинах, умирающих в Ионическом море. Но каково же было ее изумление, когда, коснувшись земли, луч не то создал, не то высветил – пирамиду, гекатомбу, торжественный победный трофей (все это отдавало вдобавок банкетным столом), во всяком случае какое-то дикое нагромождение несовместимых предметов, тяп-ляп наваленных огромнейшей кучей там, где высится ныне статуя королевы Виктории! На огромный крест рифленого узорчатого золота навешены были вдовий траур и подвенечные уборы; на другие какие-то выступы нацеплены хрустальные дворцы, воинские доспехи, похоронные венки, штаны, усы, свадебные торты, пушки, рождественские елки, телескопы, ископаемые чудища, глобусы, карты, слоны, математические инструменты, – и все это вместе, как некий гигантский герб, справа поддерживалось женской фигурой в веющих белых вуалях, а слева – дюжим господином в сюртуке и мешковатых штанах. Нелепость этих предметов, загадочное смешение торжественно облаченного с полуголым, кричащая грубость и несовместимость красок наполнили душу Орландо глубокой тоской. Никогда еще за всю свою жизнь не видела она ничего столь же непристойного, гадкого и вместе монументального. Наверное – да что там, решительно не иначе, – это был результат влияния солнца на пропитанный сыростью воздух: исчезнет с первым же ветерком; и однако, по всему очевидно, воздвигнуто навсегда. Нет, ничему, думала Орландо, снова откидываясь на подушки в углу кареты, ни ветру, ни ливням, ни солнцу, ни грому никогда не разрушить это кошмарное сооружение. Только носы облупятся да заржавеют трубы; здесь и пребудет вовеки, указуя на север и запад, на юг и восток. Когда карета одолевала Холм Конституции, Орландо оглянулась. Да, так и есть, там оно, безмятежно сияет в свете – она вытащила из нагрудного кармашка часы, – в ясном свете полудня. Ничто не могло быть более прозаичным, трезвым, более непроницаемым для любого намека на восход и закат, более явственно рассчитанным на века. Орландо решила больше не оглядываться. Уже, она чувствовала, кровь ленивей, скучнее бежала по жилам. Но куда знаменательней то, что, когда она миновала Букингемский дворец, яркая, непривычная краска залила ей щеки и какая-то высшая сила заставила ее опустить глаза на собственные коленки. Вдруг она с ужасом обнаружила, что на ней черные бриджи. Щеки ее так и рдели, пока она не достигла своего загородного дома, и это, учитывая время, которое требовалось четверке лошадей, чтобы протрусить тридцать миль, можно считать, мы надеемся, доказательством ее целомудрия.

Дома она первым делом последовала новой насущнейшей потребности своей природы и, сдернув его с постели, закуталась в камчатное одеяло. Вдове Бартоломию (сменившей добрую старую Гримз-дитч на посту домоправительницы) она объяснила, что ее знобит.

– Да и всем никак знобко, мэм, – испутив глубокий вздох, сказала вдова. – Стены-то аж потеют, – сказала она со странным горестным удовлетворением, и действительно, стоило ей прикоснуться к дубовой обшивке, на ней тотчас запечатлелась пятерня. Плющ так разросся, что многие окна оказались опечатанными. В кухне стояла такая тьма, что не отличишь дуршлага от чайника. Черного кота, бедняжку, приняли за уголь и бросили в камин. Горничные, почти все, поддевали по три-четыре красных теплых исподних юбки, хотя на дворе был август.

– А вот правда, нет ли? Люди говорят, миледи, – спросила, зябко поводя плечами, добрая женщина, и золотое распятие сотряслось у нее на грудях, – будто бы

королева-матушка надела этот, ну как его... – Она запнулась и покраснела.

– Кринолин, – выручила ее Орландо (ибо слово дошло уже до Блэкфрайерза). Миссис Бартоломью кивнула. Слезы стекали у нее по щекам, но она улыбалась сквозь слезы. Плакать было сладко. Разве не все они слабые женщины? Не все носят кринолин, дабы получше скрыть некий факт – великий факт, единственный факт, и тем не менее факт прискорбный, который каждая скромная женщина изо всех сил скрывает, покуда сокрытие не делается невозможным, – факт, что она вынашивает дитя? Вынашивает пятнадцать – двадцать детей, так что почти вся жизнь порядочной женщины уходит на старания скрыть нечто, по крайней мере единожды в году становящееся очевидным.

– Пышки горячие, обожгесся, – сказала миссис Бартоломью, утерев слезы, – в библиотеке, значит.

И закутанная в камчатное одеяло Орландо приступила к пышкам.

«Пышки горячие, обожгесся, в библиотеке, значит», – передразнила Орландо кошмарно изысканный кокни вдовы Бартоломью, попивая – ох как она ненавидела эту слабую жидкость! – свой чай. В этой вот самой комнате, вспоминала она, королева Елизавета стояла, расставив ноги, перед камином, с пивной кружкой в руке, когда лорд Берли⁴⁵ неосторожно вместо сослагательного употребил повелительное наклонение. «Малыш, малыш, – так и слышала ее голос Орландо, – разве слова „вам должно“ обращают к венценосцам?»

И плюхнула кружку об стол, до сих пор осталась отметина.

Но, вскочив было на ноги, как предписывала самая мысль о Великой Королеве, Орландо споткнулась об одеяло, выругалась и упала в кресло. Завтра надо будет купить метров двадцать черного бомбазина, решила она, – на юбку. А там уж (она покраснела) придется купить кринолин, а там уж (она покраснела) и колыбельку, и опять кринолин, и опять... Щеки ее краснели и бледнели, попеременно отражая очаровательнейшие скромность и стыдливость, какие только можно себе представить. Дух времени прямо-таки то холодом, то жаром оведал эти щеки. И если дух времени действовал несколько опрометчиво, навевая мысли о кринолине еще до замужества, извинением Орландо служила двусмысленность ее положения (даже пол ее покуда оспаривался) и беспорядочность прожитой жизни.

Наконец окраска щек окончательно утвердилась, и дух времени – если это в самом деле был он – покуда унялся. И тогда Орландо нащупала за пазухой – медальон ли, другой ли какой залог обманувшей страсти – и вытащила... но нет, не его, а рулон бумаги, запятнанный морем, запятнанный кровью, запятнанный долгами странствиями, – рукопись поэмы «Дуб». Она таскала ее за собой в таких рискованных обстоятельствах, что иные страницы совсем измызгались, иные прорвались, а лишения по части писчей бумаги, которые терпела она у цыган, вынуждали ее исписывать поля, перечеркивать строчки, превращая текст в подобие искусной штопки. Она полистала к первой странице, прочитала дату – 1586 год, – выведенную ее собственным мальчишеским почерком. Выходит, она над нею работала вот уже триста лет. Пора бы и кончить. И она начала листать и пролистывать, читать и перепрыгивать, и думать, читая, как мало она переменилась за все эти годы. Была угрюмым мальчиком, влюбленным в смерть, как у мальчиков водится, потом стала влюбчивой и высокопарной, потом сатиричной и бойкой; порой себя пробовала в прозе, порой в драме. Но при всех переменах она оставалась, решила Орландо, в сущности, той же. Тот же у нее оставался задумчивый нрав, та же любовь к животным и к природе, к земле и ко всем временам года.

«В конце концов, – думала она, встав и подойдя к окну, – ничего не изменилось. Дом, сад – в точности те же. Ни единый стул не передвинут, ни единая побрякушка не продана. Те же тропки, лужайки, деревья, тот же пруд, с теми же, можно надеяться, карпами. Правда, на троне не королева Елизавета, а королева Виктория, но какая, в сущности, разница...»

Не успела она додумать эту мысль до конца, как, словно с целью ее опровергнуть,

дверь широко распахнулась, и Баскет, дворецкий, с Бартоломью, домоправительницей, вошли убирать чайную посуду. Орландо как раз обмакнула перо в чернильницу, готовясь предать бумаге некоторые соображения о неизбежности всего и вся, и ужасно злилась на расплывшуюся вокруг пера кляксу. Перо, видно, было виновато – замахрилось или испачкалось. Она снова обмакнула перо. Клякса росла. Орландо пыталась продолжать свою мысль – слова не шли. Она украсила кляксу усами и крылышками – получился отвратительный головастик, нечто среднее между летучей и просто мышью. Но о том, чтоб слагать стихи в присутствии Бартоломью и Баскета, не могло быть и речи. Невозможно. И не успела она мысленно произнести «невозможно», как, к ее изумлению и ужасу, перо с замечательной прытью забегало по бумаге. Аккуратнейшим итальянским курсивом на странице был выведен пошлейший из всех стишков, какие ей в жизни доводилось читать.

Я только жалкое звено
В цепи времен, но чую: днесь
Мне, бедной деве, суждено
Слова надежды произнести.

Одна, под лунным серебром,
Стою и горько слезы лью,
Тоскую и пою о том,
Кого без памяти... –

настрочила она одним духом, пока Баскет и Бартоломью, кряхтя и шаркая, поправляли огонь в камине и убирали пышки.

Снова она обмакнула перо, и – пошло-поехало:

Как изменил лицо ее покров,
Завесивший ночные небеса,
Наброшенный на нежные черты,
Порфирно выцветав ее чело
И бедностию осявав затем,
Могильной бледностию озарив...

Но тут, неудачно дернувшись, она залила чернилами страницу и оградила ее от людских взоров, она надеялась – навсегда. Она вся дрожала, вся трепетала. Какая гадость – когда чернила хлещут каскадами неумного вдохновения! Да что это с нею стряслось? Из-за сырости, что ли, из-за Бартоломью, из-за Баскета? – хотела бы она знать. Но в комнате никого не было. Никто ей не отвечал, если только не считать ответом шелест дождя в плюще. Тем временем она чувствовала, стоя у окна, странную вибрацию во всем теле, будто все нервы ее натянулись и ветер ли, небрежные ли чьи-то персты по ним наигрывали гаммы. То пятки у нее зудели, то самое нутро. Престранное было ощущение в бедрах. Волосы будто вставали дыбом. Руки гудели и пели, как лет через двадцать запоют и загудят провода. Но все это напряжение, возбуждение сосредоточилось скоро в кистях; потом в одной кисти, потом в одном пальце, потом, наконец, как бы сжало кольцом безымянный палец левой руки. Но, подняв эту руку к глазам, чтобы разобраться, в чем дело, она ничего на пальце не обнаружила, кроме большого одинокого изумруда, подаренного королевой Елизаветой. Ну и что? Неужели этого мало? – спросила она себя. Изумруд был чистейшей воды. Стоил тысячу фунтов, не меньше. А вибрация все равно удивительным образом (напомним: мы имеем дело с таинственнейшими проявлениями души человеческой) будто настаивала: да, вот именно что мало; и дальше дрожала уже нотка вопроса, – что значит, мол, это зияние, этот странный недосмотр? – покуда бедная Орландо положительно не устыдилась своего

безымянного пальца на левой руке, притом сама честно не ведая почему. В эту минуту как раз вошла Бартоломью, справляясь, какое платье подать для обеда, и Орландо, все ощущения которой были до крайности обострены, тотчас глянула на левую руку Бартоломью и тотчас заметила то, чего прежде не замечала: толстое кольцо весьма пронзительной желтизны охватывало безымянный палец, у самой нее совершенно голый.

– Дайте мне глянуть на ваше кольцо, Бартоломью, – сказала Орландо и потянулась к кольцу рукой.

И тут Бартоломью повела себя так, будто ее пнул в грудь какой-то громила. Она отпрыгнула на несколько шагов, сжала руку в кулак и простерла в благороднейшем жесте.

Нет уж, сказала она с достоинством и решимостью, их светлость могут глядеть сколько влезет, а только снимать обручальное кольцо – это ни архиепископ, ни Папа, ни сама королева Виктория ее не принудят. Ее Томас надел кольцо это ей на палец двадцать пять лет, шесть месяцев и три недели тому, она в нем спит, в нем работает, моется, молится; и пусть ее с ним похоронят. Хоть голос Бартоломью срывался и сел от волнения, Орландо, собственно, поняла ее так, что благодаря сиянию кольца она рассчитывала на место в ангельском сонме и блеск его тотчас затмится навеки, если она хоть на секунду расстанется с ним.

– Господи помилуй, – сказала Орландо, стоя у окна и глядя на шашни голубей. – Ну и мир! Вот ведь где приходится жить!

Сложность мира ее озадачивала. Ей казалось уже, что весь мир окольцован золотом. Она пошла обедать. Кольца, кольца, обручальные кольца. Пошла в церковь. Сплошные обручальные кольца. Выехала в город. Золотые, томпаковые, толстые, тонкие, плоские, дутые – они сверкали на всех руках. Кольца загромождали прилавки ювелиров – не сверкая стразами и бриллиантами Орландовых воспоминаний, – гладкие, простые, вообще без камней. В то же время она стала замечать новый обычай у горожан. Встарь нередко приходилось видеть, как парень милуется с девушкой у боярышниковой изгороди. Нередко Орландо случалось походя, с хохотом, вытянуть такую парочку хлыстом. Теперь все переменялось. Пары, нерасторжимо сплетенные, с трудом плелись по проезжей части улицы. Правая женская рука была неизменно продета сквозь левую мужскую, и крепко сцеплены пальцы. Только уж когда в них совсем утыкалась лошадиная морда, они – громоздко, не расцепляясь – прядали в сторону. Орландо оставалось догадываться, что произведено какое-то новое открытие относительно человечества; людей как-то склеивали, чету за четой, но кто и когда это изобрел – оставалось неясным. Казалось бы, Природа тут ни при чем. Разглядывая голубей, и кроликов, и борзых, Орландо не замечала никаких таких усовершенствований в методах Природы, по крайней мере со времен королевы Елизаветы. Нерасторжимого единства среди зверей она не наблюдала. Тогда, может быть, это все исходит от королевы Виктории и лорда Мельбурна? ⁴⁶ Не им ли принадлежит великое открытие по части брака? Но королева, рассуждала Орландо, говорят, любит собак; лорд Мельбурн, говорят, любит женщин. Странно. Противно. Что-то в этой нераздельности тел оскорбляло ее чувство приличия и понятия о гигиене. Размышления эти, однако, сопровождалась таким зудом в злополучном пальце, что она не могла хорошенько собраться с мыслями. Они вихлялись и строили глазки, как грезы горничной. Ее кидало от них в краску. Делать нечего, оставалось купить это уродство и носить, как все. Так она и сделала и тайком, сгорая от стыда, за занавеской, нацепила на палец кольцо. Но что толку? Зуд продолжался, стал еще мучительней и настырней. В ту ночь она не сомкнула глаз. Наутро, когда она взялась за перо, ей либо вообще ничто не шло на ум и перо одну за другой роняло плаксивые кляксы, либо оно, еще более настораживая, оголтело скакало по медоточивым банальностям о безвременной кончине и тлении; нет уж, это хуже даже, чем вовсе не думать. Да, похоже – и случай ее тому доказательство, – что мы пишем не пальцами, но всем существом. Нерв, ведающий пером, пронимает все фибры нашей души, пронзает сердце, протыкает печень. Хотя беспокойство Орландо, казалось, сосредоточилось в левом

безымянном пальце, она вся была отравлена, вся, и в конце концов вынуждена была склониться к самому отчаянному противоядию, а именно: полностью сдаться, уступить духу времени и взять себе мужа.

Насколько это не соответствовало ее природным устремлениям, мы уже показывали со всей откровенностью. Когда замер звук колес эрцгерцогского экипажа, с губ ее сорвался крик «Жизнь и любовь!» (а вовсе не «Жизнь и муж!»), и для преследования этих именно целей отправилась она в Лондон и вращалась в свете, как было отражено в предыдущей главе. Но дух времени, неукротимый дух, куда решительней сминает всякого, кто смеет с ним тягаться, чем тех, кто сам стелется перед ним. Орландо, естественно наклонная к елизаветинскому духу, духу Реставрации, духу восемнадцатого века, почти не замечала, как перетекает эпоха в эпоху. Но дух века девятнадцатого ей просто претил, а потому он схватил ее, сломил, и она чувствовала свое поражение, чувствовала над собой власть века, как никогда не чувствовала прежде. Ведь каждая душа, очень возможно, приписана к определенному месту во времени: иные созданы для одного времени, иные для другого; и, когда Орландо стала женщиной в тридцать с хвостиком, между прочим, характер у нее уже сложился и невесть как его ломать было удивительно противно.

И вот она стояла, пригорюнясь, у окна залы (так окрестила Бартоломью кабинет), притянутая долу тяжелым, покорно ею напяленным кринолином. Ничего более громоздкого и жуткого ей в жизни не приходилось нашивать. Ничто так не стесняет шага. Уж не побегаешь с собаками по саду, не взлетишь на ту высокую горку, не бросишься с размаху под любимый дуб. К юбкам липнут сырые листья и солома. Шляпка с перьями трепыхается на ветру. Тонкие туфельки миглом промокают. Мышцы Орландо утратили эластичность. Она стала опасаться затаившихся за панелями громил, пугаться – впервые в жизни – шляющихся по коридорам призраков. Все это, вместе взятое, постепенно, понемногу, заставляло ее покориться новому открытию, произведенному то ли королевой Викторией, то ли кем еще, – что каждому мужчине и каждой женщине суждено кого-то одного поддерживать, на кого-то одного опираться, покуда смерть их не разлучит. Какое утешение, думала она, – опереться, положиться, да – лечь и никогда, никогда, никогда больше не подниматься. Так, при всей ее прежней гордости, повлиял на нее этот дух, и, спускаясь по шкале эмоций к столь непривычно низкой отметке, она чувствовала, как зуд и покалывание, прежде каверзные и настырные, потихоньку преобразовывались в медовые мелодии, и вот уже словно ангелы белыми пальцами пощипывали струны арф, все существо ее затопляя серафической гармонией.

Да, но на кого опереться? Кто он? Она обращала свой вопрос к осенним злым ветрам. Ибо стоял октябрь и, как всегда, лило. Не эрцгерцог – он женился на какой-то невероятно знатной даме и много лет уже охотился на зайцев в Румынии; не мистер М. – он перешел в католичество; не маркиз В. – он, получив отставку, отправился в каторгу; ну и не лорд О.: он давно стал кормом для рыб. По разным причинам никого из старых ее знакомых уж нет, а все эти Нелл и Китти с Друри-лейн, как ни милы, – не из тех, на кого можно опереться.

– Так на кого, – спрашивала она, устремляя взор на клубящиеся облака, заламывая руки, коленопреклонясь на подоконнике и явля живейший образ трогательной женственности, – на кого мне опереться?

Слова слетали сами собой, руки сами собой заламывались, в точности так же, как само собою бегало по бумаге перо. Говорила не Орландо, говорил дух времени. Но кто бы ни задавал этот вопрос, никто на него не ответил. В лиловых осенних облаках кувыркались грачи. Дождь перестал, и по небу разлилось сверканье, соблазнявшее надеть шляпку с перьями, туфельки на шнурках и прогуляться перед ужином.

«Все пристроены, все, кроме меня, – думала она, безутешно бродя по саду. Грачи, например; даже Канут и Пипин, как ни преходящи их связи, и те сегодня, кажется, пристроены. – А я, всему этому хозяйка, – думала Орландо, на ходу оглядывая свои несчетные окна под гербами, – только я не пристроена, одна только я одинока».

Никогда прежде такие мысли не приходили ей» голову. Сейчас они неотступно ее

преследовали. Нет чтоб самой толкнуть ворота, она постучала ручкой в изящной перчатке, призывая привратника. На кого-то надо же опереться, хоть на привратника, думала она и чуть было не осталась помогать ему печь на жаровне отбивную, да заробела. И вышла одна в парк, сперва спотыкаясь и страшась, как бы какой-нибудь браконьер, или лесничий, или просто рассыльный не удивился, что дама из общества гуляет по парку одна. На каждом шагу она нервно высматривала, не таятся ли за кустом мужские формы, не наставила ли на нее свой рог бодучая злая корова. Но только грачи красовались в небе. Вот один уронил в вереск синее, стальное перо. Она любила перья диких птиц, Когда-то, мальчиком, даже их собирала. Подняла и это, воткнула в шляпку. Она немного проветрилась и повеселела. Над головою у нее кувыркались грачи, одно за другим, сверкнув на лиловости неба, падали перья, а она шла и шла, волоча за собою плащ, шла по болоту, в гору. Много лет не заходила она так Калеко. Шесть перьев подобрала она с травы, разминала в пальцах, прижималась губами к их мерцающей, нежной пушистости, как вдруг, таинственный, как то озеро, в которое сэр Бедивер бросил меч короля Артура ⁴⁷, сверкнул на склоне горы серебряный пруд. Одинокое перышко дрогнуло в вышине и упало на его середину. И странный восторг охватил Ор ландо. Будто она, вслед за птицами, оказалась на краю света и, рухнув на топкий мох, пила и пила воду забвения, покуда хриплый хохот грачей реял над ее головой. Она ускорила шаг – побежала – осту, пила – задела за цепкие вересковые корни – упала. И сломала лодыжку. И не могла встать. И лежала, довольная. К ноздрям ее ластился запах болотного мирта, медовый луговой дух. Хриплый грачиный хохот стоял в ушах.

– Вот я и нашла себе пару, – бормотала она. – Это болото, я обручена с природой, – шептала она, блаженно предаваясь прохладным объятиям травы, лежа в складках плаща, в лоштинке возле пруда. – Так и буду лежать. (На лоб ей упало перо.) Я сыскала листы зеленее лавров. Всегда будет прохладен под ними мой лоб. Эго перья диких птиц – сов, козодоев. Мне приснятся дикие сны. Рукам моим не нужны обручальные кольца, – продолжала она, стягивая с пальца кольцо. – Корни их обовьют. Ах! – вздохнула она, с отрадой вжимаясь в мшистую подушку. – Много веков искала я счастья, и не нашла; гонялась за славой, и ее не настигла; за любовью – и не узнала ее; искала жизни – но смерть лучше. Многих мужчин и многих женщин я знала, – продолжала она, – и никого из них я не поняла. Так не лучше ли мирно лежать, видя над собой одно только небо... Да, как это говорил мне цыган? Давным-давно. Это было в Турции.

И она посмотрела вверх, на золотую волшебную пену, сбитую из облаков, и там скоро увидела след и караван верблюдов, бредущих каменистой пустыней взметая красные тучи песка; и вот верблюды прошли, остались одни только горы, высокие, в зубцах и расщелинах, и она так и слышала бубенцы козых стад по склонам, осыпанным ирисом и горечавкой. И вот в небе наметились перемены, и глаза ее медленно опускались, опускались, пока не уткнулись в землю, потемнелую от дождя, и всхолмие Южных Дюн, единой волной охлестывающих берег; и в прогале она увидела море, море – и на нем корабли; и она будто услышала с моря дальний пушечный гром и сначала решила: «Армада» ⁴⁸, потом подумала: «Нельсон» ⁴⁹, а потом вспомнила, что войны эти кончились и суда на волнах – суда деловитых купцов, а паруса над излучистой речкой – паруса увеселительных лодок. А потом она увидела скот, пятнами разбросанный по вечеряющим лугам, овец и коров; и горстки огней, озаривших крестьянские окна; и огни, заметавшиеся по лугам, – это обходили с фонарями стада пастухи; а потом все огни погасли и на небо хлынули звезды. Ее клонило в сон, она уже дремала с мокрыми листьями на лице, приникнув ухом к земле, и вдруг услышала там, в глубине, стук молота по наковальне – или это чье-то сердце стучало? «Тук-тук», «тук-тук» выстукивало – молот ли, сердце? – в глуби земли; она слушала-слушала, и вот ей стало сдаваться, что это не сердце, а стук лошадиных копыт; раз,

47

48

49

два, три, четыре – считала она; запинка; ближе, ближе, и уже слышно, как хрустнул сучок, как чавкнуло под копытом болото. Копыта были совсем рядом. Она села. Высоко, на желтой штриховке рассвета, в обрамлении вверх-вниз мечущихся чибисов, вырисовывался всадник. Он вздрогнул. Конь стал.

– Мадам, – крикнул всадник, соскакивая с коня. – Вы ранены!

– Я умерла, сэр! – отвечала она.

Через несколько минут они обручились. Наутро, за завтраком, он ей назвал свое имя. Мармадюк Бонтроп Шелмердин, эсквайр.

– Так я и знала, – сказала она, ибо что-то романтическое, и рыцарственное, и печальное, но решительное было в нем, отвечавшее дикому, темноперому имени – имени, в котором сине-стальное сверкание крыл сливалось с хриплым хохотом-карканьем, со спирально-змеиным кружением листьев, опадающих в серебряный пруд, и еще с тысячей разных вещей, которые будут сейчас же описаны.

– А меня зовут Орландо, – сказала она. Он об этом догадывался. Потому что, когда видишь корабль на всех парусах, озаренный солнцем, гордо рассекающий волны Средиземного моря на пути из южных морей, ты сразу скажешь – Орландо. Так он объяснил.

Собственно, хоть они только что познакомились, они уже знали друг о друге все сколько-нибудь существенное, как водится у влюбленных, и теперь оставалось выяснить только разные мелочи: например, как кого зовут, кто где живет, нищие они или люди с достатком. У него замок на Гебридах, но совершенно разрушенный, сказал он. В столовой пируют бакланы. Он солдат, моряк, исследует Восток. Сейчас направляется в Фалмут, там стоит его бриг, вот только ветер улегся, а он сможет выйти в море не иначе как при штормовом юго-западном ветре.

Орландо поскорее глянула на флюгерного золоченого леопарда. Слава Богу, хвост, незыблемый как утес, указывал прямо на восток.

– О Шел! Не покидай меня! – крикнула она. – Я безумно тебя люблю!

Не успели эти слова слететь с ее уст, как жуткая мысль мелькнула у них обоих одновременно.

– Ты женщина, Шел! – крикнула она.

– Ты мужчина, Орландо! – крикнул он. Никогда еще от самого своего начала мир не видывал такой сцены уверений и доказательств, как та, что разразилась далее. По ее окончании оба снова уселись за стол, и Орландо спросила, что это за речи такие о штормовом юго-западном ветре? Куда это он намерен держать путь?

– На Горн, – ответил он кратко и покраснел. (Должен же и мужчина краснеть, как и женщина, просто поводы у них совершенно разные.) Только благодаря неотступному натиску и чутью удалось ей установить, что жизнь его посвящена опаснейшей и блистательной задаче, а именно огибать мыс Горн под штормовым ветром. Гнутся мачты; паруса обращаются в клочья. (Она у него вырвала эти признания.) Нередко корабль тонет, и в живых остается он один – на плоту, с единственным сухарем.

– Ну а чем же нынче человеку заняться, – сказал он застенчиво и положил себе еще несколько ложек клубничного варенья. И, представив себе, как этот мальчик (а кто же он, как не мальчик?) под стоны мачт и сумасшедшее кружение звезд отдает отрывистые хриплые приказания – то обрезать, это бросить за борт, – она расплакалась, и слезы эти, она заметила, были слаще всех, какие до сих пор доводилось ей лить. «Я женщина, – думала она. – Наконец-то я настоящая женщина». Она от всей души благодарила Бонтропа за восхитительную, за нежданную радость. Не охромей она на левую ногу, она бы вскочила к нему на колени.

– Шел, милый, – приступилась она снова, – Расскажи...

И так разговаривали они часа два, или больше может быть, про мыс Горн, а может быть нет, и разговор их записывать решительно не стоит, ведь они так хорошо друг друга знали, что могли говорить что угодно, а это равносильно тому, чтобы вовсе не говорить или говорить о глупейших и прозаичнейших вещах: например, как готовить омлет или где купить

в Лондоне самые лучшие ботинки, что, вынутое из оправы, теряет всякий блеск, тогда как оправленное – сияет неслыханной красотой. И благодаря мудрой рачительности природы современное сознание уже может обходиться почти без языка; и простейшее выражение сойдет, раз сходит отсутствие выражений; и самый будничней разговор часто оказывается самым поэтичным, а самое поэтичное – это то и есть, что записать невозможно. По каковым причинам мы здесь и оставим большой пробел в знак того, что это место заполнено до краев.

Еще несколько дней протекали в подобных беседах, и вот:

– Орландо, любимая, – начал было Шел, когда за дверью послышалось шарканье и Баскет, дворецкий, явился с сообщением, что внизу ждут двое фараонов с приказом королевы.

– Сюда их, – кратко сказал Шелмердин, будто стоял у себя на юте, и занял позицию подле камина, невольно заложив руки за спину. Двое полицейских, в бутылочных мундирах, с дубинками у бедра, вошли и стали по стойке «смирно». Покончив с формальностями, они передали Орландо в собственные руки, как им было предписано, документ чрезвычайной важности, судя по сургучным кляксам, лентам, присягам и подписям самого внушительного свойства.

Орландо пробежала бумагу глазами и затем с помощью указательного пальца правой руки, выделила, как самые насущные, следующие факты.

«Судебным разбирательством установлено... – читала она, – кое-что в мою пользу, вот, например... а кое-что нет. Турецкий брак аннулировать (я была послом в Константинополе, Шел, – пояснила она). Детей признать внебрачными (якобы у меня было трое сыновей от Пепиты, испанской танцовщицы). Так что они ничего не наследуют... вот это прекрасно... Пол? Ага! Что насчет пола? Мой пол, – прочитала она не без торжественности, – неоспоримо, без тени сомнения (А? Что я тебе минуту назад говорила, Шел?) объявляется женским Состояние, сим освобождаемое от наложенного на него ареста, имеет переходить моим наследникам и наследникам вышеозначенных по мужской линии, в случае же невступления в брак...» – Но тут слог закона ей надоел, и она сказала:

– Но невступления в брак не ожидается и отсутствия наследников тоже, так что остальное можно не читать, – после чего подмахнула свою подпись под росчерком лорда Пальмерстона ⁵⁰ и с той минуты вошла в неограниченное владение своими титулами, домами и состоянием, каковое заметно убавилось, так как на разбирательство ушла уйма денег, и, снова бесконечно знатная, она была теперь ужасно бедна.

Когда стал известен исход процесса (а слухи были куда расторопней, чем сменивший их телеграф), весь город ликовал.

[Лошадей впрягли в кареты с единственной целью вывести их погулять. Ландо и коляски порожняком непрестанно катили туда-сюда по Хай-стрит. В «Быке» читали приветствия. В «Олене» читали ответы. Лондон был иллюминирован. Золотые ларцы выставляли в надежно запертых горках. Монеты добросовестно клали под камень. Основывались больницы. Открывались крысиные и воробьиные клубы. Чучела турчанок вместе с несчетным множеством крестьянских мальчишек со свисающей изо рта ленточкой: «Я не то, за что себя выдаю» – дюжинами сжигали на рыночных площадях. Скоро дворцовые каурые пони протрусили к дому Орландо с приказанием от королевы явиться нынче же к ужину и остаться ночевать во дворце. Стол Орландо, как и в предыдущем случае, тонул под сугробами приглашений от графини Р., леди К., леди Пальмерстон, маркизы В., миссис Гладстон ⁵¹ и прочих, искавших удовольствия ее видеть и напоминавших о старинных связях своих семейств с ее собственным, и прочее, и прочее] – что не случайно заключено в квадратные скобки, должным образом означающие, насколько преходящим и бранным было все это для Орландо. Возвращаясь к тексту, она все это пропустила. На рыночных площадях

пылали костры, а она бродила по темным лесам наедине с Шелмердином. Стояла прелестная погода, деревья недвижно простирали над ними ветви, и, если все-таки падал какой-нибудь лист, он падал так медленно, что можно было полчаса наблюдать, как он, золотой и багряный, кружит в воздухе, прежде чем упасть к ногам Орландо.

– Расскажи мне, Мар, – говорила она (тут самое время объяснить, что, когда она его называла по первому слогу первого имени, она бывала в мечтательном, влюбленном, покладистом духе, таком домашнем, разнеженном, томном, будто пахуче полыхают поленья, и вечер, но одеваться еще не пора, и за окном чуть заметная сырость, и листья блестят, но соловей тем не менее, пожалуй, заливаётся среди азалий, и на дальних мызах лениво перелаиваются собаки, кричит петух, – все это читатель должен вообразить в ее голосе). – Расскажи мне, Мар, – говорила она, – про мыс Горн.

И Шелмердин складывал на земле из сухих листьев и нескольких улиточных раковин небольшую модель мыса Горн.

– Тут север, – говорил он. – Тут юг. Ветер приблизительно отсюда. Ну вот, а бриг направляется прямо на запад; мы только что спустили крьюйс-марс; и видишь – тут, где эта трава, – он входит в течение, ты определишь, оно помечено, – где моя карта и компас, боцман? Ага! Благодарствуй. Значит, там, где та раковина. Течение гонит его правым галсом, так что нам надо спешно спускать кливер, не то нас кинет на бакборт, видишь, где буквый лист, потому что, знаешь ли, душа моя... – И он продолжал в том же роде, и она ловила каждое слово, и правильно все понимала, и видела – то есть без всяких его объяснений – свечение волн; как льдинки позвякивают под вантами; как он под ревающим ветром карабкается на топ-мачту; там рассуждает о судьбах человечества; спускается; пьет виски с содовой; сходит на берег; попадает в сети к чернокожей красотке; раскаивается; размышляет об этом; читает Паскаля; решает написать что-нибудь философическое; покупает обезьянку; размышляет о том, в чем цель жизни; решает в пользу мыса Горн и так далее. Все это и еще тысячи разных вещей понимала она из его слов, и, когда она отвечала: «Ах, негритянки – они ведь такие соблазнительные» – на его сообщение о том, что у него вышел весь запас сухарей, он дивился и восхищался тем, как чудесно она его понимает.

– Ты положительно убеждена, что ты не мужчина? – спрашивал он озабоченно, и она откликнулась эхом:

– Неужто ты не женщина? – И приходилось тотчас же это доказывать. Потому что каждый поражался мгновенности отклика, и для каждого было открытием, что женщина может быть откровенной и снисходительной, как мужчина, а мужчина может быть странным и чутким, как женщина, и необходимо было тотчас подвергнуть это проверке.

И так продолжали они говорить или, скорей, понимать, – и это стало главным в искусстве речи в тот век, когда слова ежедневно скудеют в сравнении с идеями и слова «сухари все вышли» уже значат равно то же, что целовать негритянку во тьме, если ты только что в десятый раз перечитал философию епископа Беркли ⁵². (А отсюда следует, что лишь изощреннейшие мастера стиля способны говорить правду, и, наткнувшись на простого односложного автора, вы можете без малейших сомнений заключить, что бедняга лжет.)

Так они разговаривали; и потом, когда ноги ее совсем тонули в пятнистых осенних листьях, Орландо вставала и одиноко брела в глубь лесов, предоставляя Бонтропу одному совершенствовать модель мыса Горн из улиточных раковин.

– Бонтроп, – говорила она, – я ухожу. – А когда она называет его вторым именем – Бонтроп, это должно означать для читателя, что ею овладело ощущение сироты, и оба они ей кажутся точечками в пустыне, и хочется только встретить смерть один на один, потому что люди ведь мрут ежедневно, мрут за обеденными столами или так вот, на воле, в осенних лесах; и хоть костры пылали и леди Пальмерстон и миссис Дерби ежедневно приглашали ее на обед, на нее нападала жажда смерти, и, когда она ему говорила «Бонтроп», на самом деле она говорила: «Я умерла», и уходила, как дух бы ушел, сквозь призрачно-бледные буки, и

уплывала глубоко в одиночество, словно последний звук, последнее движение – остыли и она вольна идти куда глаза глядят, – все это должен услышать читатель в ее голосе, когда она говорит «Бонтроп», и должен еще прибавить для полноты картины, что и для него самого оно означало – вот тут уже мистика – отъединение, и замкнутость, и бестелесное хождение по палубе брига в бездонных морях.

Через несколько часов смерти вдруг сойка вскрикивала: «Шелмердин!» – и она наклонялась, срывала один из тех осенних крокусов, которые для иных означают просто «крокус», и только, и вместе с сойкиным пером, синевой сверху-вниз просверкнувшим в буках, прятала у себя за пазухой. Потом она звала: «Шелмердин!» – и слово, прострелив лес, разило его на месте, там, где он сидел, сооружая модели из травы и улиточных раковин. Он видел ее, слышал, как она идет к нему с крокусом и сойкиным пером за пазухой, и кричал: «Орландо!» – и это значило (тут не следует забывать, что, когда яркие краски, синяя с желтой например, смешиваются у нас в мыслях, часть их счищается к нам на слова) сперва, что гнутся и качаются папоротники, словно сквозь них пробивается что-то; и это оказывается затем кораблем под всеми парусами, вздымающимся, опадающим, заваливающимся сонно, словно перед ним простирается целый год незакатного лета; и корабль близится, зыбко покачиваясь, гордо и праздно, взлетает на гребне волны, падает в лощину другой, и уже он стоит над тобою (а ты сидишь в своей утлой лодчонке и смотришь, и смотришь), и все паруса трепещут и вдруг – что это? – падают грудой на палубу – вот как Орландо сейчас падала рядом с ним на траву. Восемь или девять дней прошли таким образом, на десятый день, а именно 26 октября, Орландо лежала в папоротнике, а Шелмердин декламировал Шелли (которого все сочинения знал он наизусть), когда лист, лениво начавший падение с верхушки бука, вдруг стремительно охлестнул ноги Орландо. За ним последовал второй лист и третий. Орландо вздрогнула и побледнела. Это был ветер. Шелмердин – но сейчас уместней его назвать Бонтро-пом – вскочил на ноги. – Ветер! – крикнул он.

И вместе они бросились через лес (ветер на бегу облеплял их листьями), на большой двор, дальше, малыми дворами, и слуги ошарашенно бросали кто швабру, кто скалку и кидались им вслед, и вот добежали до часовни, и стали зажигать свечи, и кто-то скамью опрокинул, кто-то свечу, наоборот, по ошибке задул. Звонили в колокола. Созывали людей. Наконец явился мистер Даппер, на ходу надевая епитрахиль и спрашивая, где требник. Ему сунули молитвенник королевы Марии, он поискал-поискал, второпях листая страницы, и сказал: «Мармадьок Бонтроп Шелмердин и леди Орландо, станьте на колени»; и они стали, и темнели, светлели, светлели, темнели, когда свет и тень врывались по очереди в витражи, и сквозь грохот несчетных дверей, словно одну о другую колотили медные плошки, то слабо, то истошно рыдал орган, и мистер Даппер, уже старенький старичок, пытался перекричать грохот, но его не было слышно, и потом на мгновение все затаилось, и три слова, кажется «смерть не разлучит», отчеканились в тишине, и все дворовые протиснулись в дверь, с кнутами и с граблями, и кое-кто подпевал, кое-кто молился, а потом птица забила о стекло, и грянул гром, и никто не расслышал, когда было сказано «да убоится», и не разглядел ничего, кроме золотистого сполоха, когда из рук в руки передавалось кольцо. Все смешалось, все ходуном ходило. И они поднялись с колен, и ревел орган, играли молнии, хлестал ливень, и леди Орландо, в легоньком платьице, с кольцом на пальце, выбежала во двор и придержала раскачивающееся стремя (конь был взнуздан, и пена была на боках), помогая супругу вскочить в седло, и он вскочил одним махом, и конь поскакал прочь, и Орландо кричала вслед: «Мармадьок Бонтроп Шелмердин!» – и он отвечал ей: «Орландо!» – и слова эти ястребами кружили меж звонниц, выше, выше, дальше, дальше, быстрее и быстрее кружили они, пока не разбились и не хлынули ливнем осколков на землю; и она пошла в комнаты.

ГЛАВА 6

Орландо вошла в дом. Все было тихо. Все спокойно. Были чернила, было перо, был

черновик ее стихов – дань вечности, прерванная на полуслове. Когда Баскет и Бартоломью прервали ее тогда с этой своей чайной посудой, она как раз собиралась сказать – ничего не меняется. И вот за три с половиной секунды все изменилось: она сломала лодыжку, влюбилась, вышла замуж за Шелмердина.

Обручальное кольцо на пальце служило тому порукой. Конечно, она надела его сама, до того еще, как встретила с Шелмердином, но что тогда от него было проку? А сейчас она вертела и вертела кольцо, в суеверном благоговении, бережно, боясь, как бы оно вдруг не соскользнуло.

– Обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки, – сказала она тоном затверживающего урок дитяти, – чтобы от него был какой-нибудь прок.

Она произнесла это громко и, пожалуй, торжественней, чем было у нее заведено, будто хотела, чтобы кто-нибудь, чьим мнением она дорожит, мог ее подслушать. Да, вот наконец она и собралась с мыслями, и пора было призадуматься о том, как согласуется ее поведение с духом времени. Как посмотрят на ее обручение с Шелмердином, на ее замужество? Она нуждалась в одобрении века. Конечно, теперь она в своей тарелке. Палец, с той самой ночи на болоте, совсем почти не свербит. И однако – она не могла отрицать – кой-какие сомнения у нее оставались. Она замужем, кто спорит; но, если твой муж вечно носится вокруг мыса Горн, это что – замужество? Если ты его любишь – это замужество? Если ты любишь других – это замужество? И наконец, если ты по-прежнему только и мечтаешь писать стихи – это замужество? Сомнения у нее оставались.

Но существуют же доказательства. Она глянула на кольцо. Глянула на чернильницу. Ну как? Нет, у нее не хватило пороку. Но ведь надо. Нет, невозможно решиться. Что же делать? Упасть в обморок, если удастся. Но никогда еще в жизни она себя не чувствовала так хорошо.

– А, плевать на все! – крикнула она почти со стародавним своим куражом. – Была не была! И с размаху вонзила перо в чернильницу. К величайшему ее изумлению, взрыва не последовало. Она вытащила перо. Мокрое, но с него не капало. Она стала писать. Слова пошли не сразу, но все же пошли. Ой! Да есть ли тут смысл какой-нибудь? Она ужасно испугалась, как бы перо опять не взялось за свои сумасшедшие коленца. Прочитала:

Медвяной росною тропой
Бреду меж диких бальзаминов,
Что отрешенны и нежны,
Как ласки нильской девы дальней.

И вдруг она почувствовала, как некая сила (наполним, мы имеем дело с таинственнейшими проявлениями человеческой природы), читавшая у нее из-за плеча, схватила ее за руку. Стоп. Медвяная тропа – говорила эта сила, как гувернантка возвращается с линейкой к началу текста – вполне приемлема; нежные дикие бальзамины – куда ни шло; отрешенны – про цветы? – несколько, пожалуй, чересчур, но Вордсворт, кстати, как раз бы, глядишь, и одобрил; но эта дева? дева-то при чем? У вас муж на мысе Горн, вы говорите? А, ну тогда извините, милочка. И дух времени ушел своей дорогой. Орlando теперь в душе (все это происходит в душе, в душе) смотрела на дух своего времени с глубоким почтением, какое, например – мы не говорим о масштабах, – путешественник, помнящий о запретных сигарах в недрах своего чемодана, выказывает таможеннику, любезно ставящему мелком закорючку на его крышке. Потому что она была отнюдь не убеждена, что, поройся дух времени потщательней у нее в голове, он бы там не нашарил совершеннейшей контрабанды, за которую ей полагалось платить немалую пошлину. Она просто ловко отделалась. Просто ухитрилась, польстив этому самому духу, надев на палец кольцо, подобрав на болоте мужа, любя природу и не будучи ни сатириком, ни циником, ни психологом, – уж такой бы товар обнаружился сразу! – успешно пройти досмотр. И она испустила глубокий вздох облегчения, и, между прочим, не зря, потому что отношения

сочинителя с духом времени – самого деликатного свойства и для сочинителя зависит от них весь его успех. Орландо, в общем, очень славно устроилась: ей не приходилось ни воевать с духом времени, ни ломать себя ему в угоду; она с ним была заодно и – оставалась собой. И следственно, могла писать, и писала. Писала. Писала. Писала.

Было это в ноябре. После ноября наступает декабрь. Потом январь, февраль, март и – апрель. После апреля начинается май. Далее идут июнь, июль, август. Потом сентябрь. Потом октябрь и – снова у нас ноябрь, и, значит, прошел целый год.

Такой метод писания биографии, при бесспорных своих преимуществах, в чем-то, может быть, не вполне убедителен, и, если мы будем и дальше его придерживаться, читатель вправе нам попенять, что, мол, и сам бы мог цитировать календарь и сэкономить – уж неизвестно какую там сумму сочтет наш издатель уместным назначить за нашу книжку. Но что прикажете делать биографу, когда персонаж его сталкивает с такой незадачей, как вот нас сейчас Орландо? Все, с чьим мнением стоит считаться, согласились на том, что жизнь – единственный предмет, достойный пера биографа или романиста; а жизнь – постановили те же авторитеты – ничего не имеет общего с тем, чтоб сидеть на стуле и думать. Мыслить и жить – два полярно противоположных занятия. А потому – раз Орландо сейчас только и делает, что сидит на стуле и думает – нам ничего другого не остается, как цитировать календарь, перебирать четки, сморкаться, ворошить огонь и смотреть в окно, покамест ей это не надоест. Орландо сидела так тихо, что можно было услышать, как падает на пол булавка. И хоть бы упала! Все бы жизнь! Или впорхнула бы в окно, например, бабочка, обосновалась бы у нее на стуле. Тоже стоит писать. Или, скажем, Орландо вскакивает и прихлопывает осу. Тут уж хватай перо и строчи. Пусть и осиное, а как-никак кровопролитие. И хотя убиение осы – сушая ерунда по сравнению с убиением человека, и то романисту или биографу оно все приятней, чем вот это сплошное витание в облаках, эти раздумья; это сидение с утра до вечера с сигаретой, листом бумаги, пером и чернильницей. Ах, если бы герои жизнеописаний, посетуем мы наконец (ибо терпение наше на исходе), уделяли побольше внимания своим биографам! Согласитесь, прескучно же смотреть, как твой предмет, на который ухлопано столько сил и хлопот, совершенно отбившись от рук, наслаждается – чему свидетельством вздохи и ахи, то пунцовые, то бледные щеки, глаза то сияющие, как фонари, то изнуренно-блеклые, как рассветы; ну не унижительнейшее ли, согласитесь, занятие – смотреть, как перед тобой разыгрывается богатейшая пантомима, а ты-то знаешь, что в основе лежит совершеннейший вздор – мысль, воображение, не более?

Но Орландо была женщина – это, между прочим, подтвердил сам лорд Пальмерстон. А когда мы заняты жизнеописанием женщины, мы можем, это общеизвестно, уже не настаивать на действии, а заменить его любовью. Любовь, как сказал поэт, – это вся жизнь, это главное призвание женщины. А стоит нам только глянуть на Орландо, пишущую за своим столом, мы тотчас убедимся, что ни одна женщина не была лучше приспособлена для этого призвания. И конечно, раз она женщина, и женщина красивая, женщина во цвете лет, она скоро наскучит этим дурацким писанием и думаньем и примется думать, положим, о леснике (а когда женщина думает о мужчине, никого уже не возмущает думающая женщина). И она напишет записочку (а когда женщина пишет записочку, пишущая женщина тоже никого уже не возмущает). И назначит ему свидание в воскресный предвечерний час; и воскресный предвечерний час настанет; и лесник свистнет у нее под окном – что, вместе взятое, и составляет ведь самоё содержание жизни и единственный достойный сюжет для романа. И неужели Орландо не могла чем-нибудь подобным заняться? Увы и ах – ничем таким Орландо не занималась. Должно ли это означать, что Орландо была из тех чудищ, которые не способны любить? Она была добра к собакам, предана друзьям, бесконечно великодушна к десяткам обнищавших поэтов, имела страсть к поэзии. Но любовь, по определению мужчин-романистов, – а кто посмеет спорить, что им и карты в руки? – ничего общего не имеет с добротой, преданностью, великодушием и поэзией. Любить – это значит скользнуть из юбки и... Да что уж там, кто не знает, что такое любить? Ну и как же насчет

этого у Орландо? Справедливости ради мы вынуждены признаться – вот то-то и оно, что никак. Но если герой жизнеописания не желает ни любить, ни убивать, а только воображать и думать, мы смело можем счесть его (или ее) бездушным трупом и поставить на ней крест.

Единственное, что нам теперь остается, – выглянуть в окно. Там воробьи, скворцы, уйма голубей и несколько грачей – и каждый занят своим делом. Кто-то находит червячка, кто-то улитку. Кто-то вспархивает на ветку; кто-то прогуливается по травке. Вот по двору проходит слуга в суконном зеленом фартуке. Возможно, у него роман с какой-нибудь горничной, но сейчас, во дворе, вещественных доказательств нам не предложено, и потому мы можем только надеяться на лучшее и оставить этот предмет. Тучки, жиденькие и пухлые, плывут в вышине, вызывая в окраске травы перемены. Своим непостижимым способом отмечают время солнечные часы. Наш ум один за другим перебирает вопросы, праздные, тщетные, насчет этой самой жизни. Жизнь – выпекает он или, скорее, мурлычет, как закипающий чайник, – жизнь-жизнь – что ты такое? Свет или тьма? Суконный ли фартук лакея, тень ли скворца на траве?

Давайте же пойдем, исследуем летнее утро, когда все с ума сходит вот по этой вишне в цветку, вот по этой пчеле. И, мямля и хмыкая, давайте-ка спросим скворца (он птичка общительней жаворонка), что думает он, сидя на краю мусорного ящика и склевывая с прутика судомойкины очески? Что такое жизнь? – спросим мы, облокотясь на калитку. Жизнь! Жизнь! Жизнь! – кричит птичка, будто слышит нас и точно знает, что кроется за нашей противной манерой вечно ко всем приставать с вопросами, повсюду совать свой нос и ощипывать маргаритку, как заведено у писателей, когда они не знают, что дальше сказать. Являются тогда ко мне, говорит птичка, и спрашивают, что такое жизнь. Жизнь! Жизнь! Жизнь!

Мы шлепаем дальше, заболоченной тропкой вверх, вверх, на бровку винно-синей, лилово-сизой горы, и там бросаемся ничком, и дремлем, и видам кузнечика, он везет соломинку к себе домой, в лощину. И он говорит, кузнечик (если этому пиликанию можно дать священное и нежное имя речи): жизнь, он говорит, есть труд, – или нам это только мерещится в его пропыленном стрекоте? И муравей соглашается с ним, и пчела, но если мы еще полежим, до вечера, и зададим этот же самый вопрос мотылькам, украдкой скользящим меж бледнеющих колокольчиков, о, они нам такого нашепчут, чего и от телеграфных проводов не услышишь в снежный буран; хиханьки-хаханьки, смехота, смехота, говорят мотыльки.

Расспросив людей, и птиц, и насекомых, потому что рыбы – так утверждают те, кто годами жил одиноко в зеленых гротах, чтобы их послушать, – рыбы никогда не говорят про то, что такое жизнь, хотя, возможно, и знают, – всех расспросив и ни чуточки не поумнев, а став только старше и суше (а ведь когда-то молили, кажется, о даре запечатлеть в книге нечто столь драгоценное, вечное, чтобы сразу можно поклясться: вот он, смысл жизни, вот!), мы принуждены воротиться домой и со всей откровенностью объявить читателю, который трепетно дожидается нашего ответа о том, что такое жизнь, – увы, мы не знаем.

В эту секунду, и в самый как раз момент, чтоб книга совсем не зачахла, Орландо оттолкнула стул, потянулась, бросила перо, подошла к окну и крикнула: «Ну хватит!»

Она чуть не упала, такое невероятное зрелище представилось ее взору. Перед ней был сад, были кое-какие птицы. Мир существовал, как всегда. Все то время, что она писала, мир продолжал существовать.

– Умри я, и все бы осталось по-прежнему! – вскричала Орландо.

Чувства ее были так обострены, что ей даже показалось, что она буквально уже разложилась, а может быть, она и в самом деле потеряла сознание. Мгновение она смотрела на прелестный, равнодушный вид расширенными глазами. Наконец несколько необычное обстоятельство ее заставило очнуться. Манускрипт, покоившийся у ее сердца, вдруг начал биться, как живой, и – что еще удивительней и доказывает, какая близкая существовала меж ними связь – Орландо, склонив к нему голову, разобрала, что он говорит. Он хочет, чтобы

его прочитали. Он умрет на ее груди, если его не прочтут. Впервые в жизни она ополчилась против природы. Борзых и розовых кустов было вокруг предостаточно. Но ни борзые, ни розы читать не умеют. Никогда прежде она не задумывалась над этой досадной промашкой Провидения. Этой способностью наделены только люди. Люди ей вдруг понадобились позарез. Она позвонила в колокольчик. Приказала подать карету, чтобы тотчас катить в Лондон.

– Аккурат на одиннадцать сорок пять поспеете, миледи, – сказал Баскет. Орландо, и не подозревавшая об изобретении паровоза, была настолько поглощена страданиями существа, которое, не будучи ею самой, однако, полностью от нее зависело, что села в вагон и дала окутать свои колени пледом, не подарив ни единой мыслью «это поразительное изобретение, совершенно преобразившее (утверждают историки) лицо Европы за последние двадцать лет» (что случается куда чаще, чем историки полагают). Она заметила только кошмарную грязь, дикий грохот и то, что окна заедает. Поглощенная своими мыслями, она меньше чем за час домчалась до Лондона и стояла на платформе Чаринг-кросс, не зная, куда податься.

Старый дом в Блэкфрайерзе, где провела она столько приятных дней в восемнадцатом веке, был теперь продан, частью Армии спасения, частью фабрике зонтиков. Она купила новый, в Мэйфэ-ре, – чистый, удобный, в самом центре модного света, но в Мэйфэре разве избавишь стихи от томления? Слава Богу, думала она, вспоминая блеск сиятельных женских глаз и симметрию сиятельных же мужских ног, на чтение они там не слишком налегают. Ведь было бы мучительно жаль. Вот и дом леди Р. Там, без сомнения, ведутся те же беседы. Возможно, подагра переместилась из левой в правую ногу генерала. Мистер Л. две недели гостил уже не у Т., а у М. Войдет, разумеется, мистер Поп. Ах, но мистер Поп же умер. И кто там теперь блистает умом? – думала она, но такое у швейцара не спросишь, и она двинулась дальше. В уши ей хлынул звон несчетных колокольцев на головах у бесчисленных лошадей. Флотилия престранных ящиков на колесах катила вдоль тротуара. Орландо вышла на Стрэнд. Шум сделался еще невообразимей. Средства передвижения всевозможных размеров, запряженные кровными рысаками, запряженные ломовиками, где влекущие одинокую торжественную вдовицу, где до отказа набитые носителями цилиндров и бакенбард, смешались в дикой неразберихе. Глазу, привычному к ровным просторам страниц, казалось, что кареты, тележки и омнибусы в непримиримом раздоре; препротивной какофонией казался ушам, настроенным на скрип пера, уличный грохот. На мостовой негде яблоку было упасть. Потоки людей, толкавшихся и теснящих себе подобных, грохочущие, тряские экипажи – с безмерной прытью проносились на восток и на запад. Вдоль тротуаров стояли мужчины с лотками игрушек и орали. На углах сидели с корзинами весенних цветов и орали женщины. Мальчишки выскакивали из-за лошадиных морд, тянули к ним печатные листы и орали: «Катастрофа! Катастрофа!» Орландо решила, что попала в Лондон в переломный для нации час, вот только счастливый или трагический – она сказать не умела. Она тревожно вглядывалась в прохожих. Но еще больше запуталась. Вот идет, например, человек, лицо перекошено, бормочет про себя, будто только что узнал непереносимую новость. А за ним проталкивается лихой толстяк, веселящийся, как на гулянье. Пришлось ей прийти к заключению, что во всем этом нет ни складу ни ладу. Каждый мужчина, каждая женщина заняты только собой. И куда тут пойдешь?

Она шла дальше уже ни о чем не думая, из улицы в улицу, мимо гигантских окон, заваленных зеркалами и сумками, халатиками и цветами, и удочками, и корзинками для пикников, и тут же были раскиданы, увязаны, свалены, скатаны ткани всех возможных тонов и расцветок. Или она брела вдоль ровных, заспанных зданий, деловито помеченных – первый, второй, третий, и так до двухсотого или трехсотого номера, решительно неразличимых: две колонны, шесть степенных ступенек, и подняты шторы, и накрыт для семейной трапезы стол, и в одно окно устремляет взор попугай, и слуга выглядывает из другого, – пока голова у нее не начинала кружиться от однообразия. Она выходила на широкие площади с черными, блистающими задастыми статуями и гарцующими конями, вздымающимися колоннами, взлетающими фонтанами и вспархивающими голубями. Шла,

шла, шла по тротуарам, мимо домов и вдруг ужасно проголодалась; и на груди у нее что-то затрепетало с упреком: совсем, мол, меня забыла. Это бы манускрипт поэмы «Дуб».

Она устыдилась собственной невнимательности. И застыла на месте. Рядом не было ни единой кареты. Улица, широкая и красивая, была, на удивление, пуста. Только какой-то пожилой господин шел навстречу. Что-то смутно знакомое ей почудилось в этой походке. Когда он приблизился, она поняла, что решительно где-то она его уже видела. Но где? Когда? Неужто этот вальяжный щеголь с тросточкой и цветком в петлице, с розовой сдобной физиономией, седыми расчесанными бакенбардами, неужто это – Господи Боже! Ну да – это же он, ее старый, очень старый друг Ник Грин!

В то же мгновение он на нее посмотрел – вспомнил – узнал.

– Леди Орландо! – крикнул он, чуть пыль не метя цилиндром.

– Сэр Николас! – отвечала она. Ибо по каким-то оттенкам в его повадке тотчас угадала, что подлый бумагомарака, во времена королевы Елизаветы ее и многих других донимавший разносами, теперь преуспел, выбился в люди, стал сэром и Бог знает кем еще в придачу.

Снова раскланявшись, он признался, что умозаключения ее верны: он пожалован в рыцарство; он доктор литературы; автор двух десятков томов, – проще сказать, влиятельнейший критик викторианской эпохи.

Странный вихрь чувств охватил ее при виде человека, некогда так досаждавшего ей. Неужто это тот самый противный тип, который прожигал ей ковер сигарами, жарил сыр в итальянском камине и рассказывал такие веселые побасенки про Марло и прочих, что девять ночей из десяти они не ложились спать до рассвета? Сейчас он изящно облачен в серую визитку; пунцовая роза в петлице; серые замшевые перчатки в тон. Но куда она продолжала дивиться, он отвесил ей новый глубокий поклон и спросил, не окажет ли она ему честь вместе с ним отобедать? С поклонами, пожалуй, он самую малость пересолил, но честное стремление разыгрывать истинного аристократа было похвально. Все еще дивясь, она вошла следом за ним в роскошный ресторан: красный бархат, белые скатерти, серебряные приборы, – как непохоже было все это на былые кабаки и кофейни с земляным полом, деревянными скамьями, кружками пунша и шоколада, плакатами и плевательницами. Он аккуратно положил перчатки рядом с собою на стол. Неужто – он? Ногти чистые – а были ведь в дюйм длиною. Подбородок выбрит – а был ведь вечно в щетине. Золотые запонки – а вечно ведь полоскал в супе обтрепанные обшлага. И только когда он заказывал вино, с увлеченностью, отдававшей прежним его благоволением к мальвазии, она удостоверилась, что перед нею тот же самый человек.

– Ах, – сказал он с легким и довольно, впрочем, уютным вздохом. – Ах, сударыня, минул великий век литературы. Марло, Шекспир, Бен Джонсон – то-то были гиганты. Драйден, Поп, Аддисон – то-то были герои. Все, все перемерли. И на кого же нас оставили? Теннисон, Браунинг, Кар-лейль! ⁵³ – В тоне было безмерное презрение. – Что греха таить, – сказал он, наливая себе стакан вина, – наши молодые сочинители все на жалованье у книгопродавцев. Готовы состряпать любой вздор, лишь бы оплатить счета своих портных. Это век, – говорил он, налегая на закуски, – жеманных претензий и диких опытов, ничего такого елизаветинцы бы и секунды не потерпели.

– Нет, сударыня, – продолжал он, одобряя *turbot au gratin* ⁵⁴, предоставленный официантом на его рассмотрение, – великие дни поэзии миновали.

Мы живем во времена упадка. Будем же дорожить прошлым и честью воздадим тем авторам – немного их уже осталось, – которые берут античность за образец и пишут не ради презренной пользы, но ради... – Тут Орландо чуть не крикнула: «Глор!» Она могла побиться об заклад, что те же точно речи слышала от него триста лет назад. Имена, конечно, были другие – смысл не изменился. Но странно: что-то все-таки изменилось. Не сам Ник Грин. Он ничуть не изменился при всех своих регалиях. Что-то изменилось. И куда он

распространялся о том, как следует принимать за образец Аддисона (прежде, помнится, это был Цицерон) и как, валяясь в постели поутру (приятно думать, что таковую возможность ему дает аккуратно ею выплачиваемый пенсион), повертев на языке лучшие творения лучших авторов – с часок, не меньше, – прежде чем взяться за перо, дабы предварительно отрешиться от современной пошлости и очистить бедную нашу родную речь (в Америке побывал, не иначе) от плачевного засорения... Пока он продолжал в том же точно духе, как разливался Грин триста лет назад, она себя спрашивала, что же все-таки изменилось? Он расплылся, но ему уже под семьдесят; стал глаже: литература, видно, кормит неплохо; но улетучилась прежняя неумная живость. Речь его, пусть блестящая, лишилась былой безоглядности и свободы. Разумеется, «мой дорогой друг Поп», «мой прославленный друг Аддисон» поминались на каждом шагу, но была в нем удручающая добропорядочность, и он почему-то предпочитал доводить до ее сведения высказывания ее собственной близкой родни, чем тешить ее, как бывало, дикими сплетнями о жизни поэтов.

Орландо испытывала непостижимое разочарование. Все эти годы она думала о литературе (ее уединенность, положение и пол могут ей служить извинением) как о чем-то буйном, как ветер, горячем, как пламя, и мгновенном, как молния; о чем-то мерцающем, безотчетном, внезапном; а оказалось, литература – это пожилой господин в серой визитке, рассуждающий о герцогинях. Она так резко расстроилась, что на груди у нее отскочила какая-то пуговка, не то крючок, платье расстегнулось, и на стол вывалилась поэма «Дуб».

– Манускрипт! – воскликнул сэр Николас, надевая свое золотое пенсне. – Любопытно, любопытно, чрезвычайно любопытно! Разрешите-ка глянуть. – И вот снова, лет через триста, Николас Грин взял поэму Орландо и, положив между кофейными чашками и ликерными рюмками, принялся изучать. Приговор, однако, сейчас был вовсе не тот, что некогда. Это ему напоминает, говорил он, переворачивая страницы, Аддисонова «Катона». Куда там «Временам года» Томсона ⁵⁵ ... Ни следа, должен он благодарно признать, этого новомодного духа. Заметно уважение к истине, к природе, к законам сердца человеческого, столь редкое, увы, в наш век безбожных вычур. Разумеется, это должно немедленно представить на рассмотрение публики.

Орландо его просто не понимала. Обычно она носит манускрипт с собою, за пазухой. Идея заметно потешила сэра Николаса.

– Но как насчет вознаграждения? – справился он.

Мысль Орландо метнулась к Букингемскому дворцу и обитающим в нем туманным, раздающим награды властителям.

Сэр Николас совершенно развеселился. Он объяснил, что имел в виду всего лишь то обстоятельство, что господа... (тут были названы известнейшие книгоиздатели) счастливы будут, если он только им черкнет пару строк, включить книгу в свой каталог. Он, возможно, сумеет устроить вознаграждение в десять процентов с экземпляра до двух тысяч включительно и вплоть до пятнадцати – при большом тираже. Что до рецензентов, он лично готов черкнуть строчку-другую такому-то, он из самых влиятельных; ну а кое-какие комплименты, знаете, расхвалить, например, стишки издательской супруги, – это он берет на себя. Он снесется... И так далее. Орландо не понимала ни звука и, наученная горьким опытом, не очень-то развешивала уши, но ей ничего не оставалось, как покориться этому напору и страстной потребности самой поэмы. И вот сэр Николас превратил испятнанный кровью сверток в аккуратный пакет, распластал в нагрудном кармане; и после долгого обмена любезностями они расстались. Орландо пошла дальше по улице. Поэмы при ней уже не было – она ощущала пустоту на груди, – и делать ей теперь было нечего, только рассуждать, о чем там ей было угодно, – скажем, о прихоти счастья. Вот она идет по Сент-Джеймс-стрит, замужняя дама, на пальце кольцо; там, где прежде была кофейня, вот вам, пожалуйста, ресторан; сейчас половина четвертого пополудни; солнце сияет; вон три голубка; а вот и дворняга; две пролетки; ландо. Да, так что же такое Жизнь? Мысль

застучала у нее в голове, внезапная, настойчивая, безосновательная (разве что навеянная старым Грином). А она – кстати, это может служить оценкой ее отношений с супругом (находившимся на мысе Горн), положительной или наоборот, это уж как будет угодно читателю, – едва на нее накатывала внезапная мысль, кидалась на ближайший телеграф и посылала ему телеграмму. Телеграф оказался как раз под рукой. «Господи Шел, – телеграфировала она, – жизнь литература Грин пресмыкается». Тут она перешла на изобретенный ими для собственных надобностей шифр, способный передать в одном-двух словах сложнейшее душевное состояние, да так, чтоб телеграфист ничего не учуял, и прибавила: «Бара-Бек Лимпомпний», всему подведя исчерпывающий итог. Ибо ее не только глубоко впечатлило утрешнее происшествие, но – читатель, возможно, это заметил – Орландо взрослела, что не означает непременно, что она совершенствовалась, и «Бара-Бек Лимпомпний» как раз отражал то сложнейшее душевное состояние, о котором читатель, если предоставит к нашим услугам все свои умственные способности, может догадаться и сам.

В ближайшие часы на ее телеграмму не могло быть ответа; в самом деле, решила она, глянув в небо, по которому быстро пропархивали облака, возможно, на мысе Горн сейчас буря, и муж ее скорей всего на топ-мачте, или обрубают обветшалый рангоут, или даже он сейчас, с последним сухарем, один на плоту. И она решила убить время в соседней лавке, каковая оказалась столь обычной для нашей эпохи лавкой, что ее не стоило бы и описывать, если бы она так не поразила Орландо: в лавке торговали книгами. Всю свою жизнь Орландо имела дело с манускриптами – держала в руках грубые бурые листы, исписанные темными закорючками Спенсера, видела рукописи Мильтона и Шекспира. У нее хранилось немало ин-кварто и ин-фолио, часто содержавших сонет в ее честь, а то, бывало, и локон. Но эти несчетные томики, яркие, неразличимые, эфемерные, бесконечно ее удивляли. Все сочинения Шекспира стоили полкроны и умещались в кармане. Прочсть их не представлялось возможным при столь мелкой печати, но все равно – что за чудо! «Сочинения» – сочинения всех писателей, каких она знала, о каких слышала, и еще многих, многих других заполняли от края до края длинные полки. На столах и на стульях громоздились еще «сочинения», и эти, она обнаружила, полистав страницы, часто были сочинения о других сочинениях сэра Николаса и еще многих других, которых она по неведению, раз их напечатали и переплели, тоже зачислила в гении. Она наказала изумленному книгопродавцу прислать ей все сколько-нибудь стоящее и вышла из лавки.

Она свернула в Гайд-парк, знакомый ей исстари (вот под тем расщепленным вязом упал, помнится, герцог Гамильтон, насквозь пронзенный лордом Муном), и губы ее, часто этим грешившие, стали складывать в дурацкую песенку слова телеграммы: жизнь – литература – Грин – пресмыкается – Бара-Бек – Лимпомпний, так что сторожа на нее поглядели с опаской и склонялись к положительному мнению о ее здравом уме, только разглядев у нее на шее жемчужное ожерелье. Она захватила в книжной лавке пачку газет и журналов и, наконец устроившись под вязом, обложившись ими, принялась старательно изучать благородное искусство прозы в исполнении этих мастеров. В ней оставалось еще много наивного: что-то священное мнилось ей в самой расплывчатости газетной печати. Лежа опираясь на локоть, она взялась за статью сэра Николаса о сочинениях человека, которого знавала когда-то: Джона Донна. Но она нечаянно расположилась у самого Серпантина. Лай несчетных собак звенел у нее в ушах. Вокруг непрестанно шуршали колеса. Над головой вздыхала листва. То и дело оборчатая юбка в сопровождении пары литых ярко-красных брючин у самого ее носа пересекала траву. Раз гигантский резиновый мяч угодил на газету. Синее, оранжевое, лиловое, красное врывалось сквозь прорехи в листве и заигрывало с изумрудом у нее на пальце. Она отвлекалась. То посмотрит в газету, то в небо; то вниз посмотрит, то вверх. Жизнь? Литература? Перевоплотить одно в другое? Но это ведь чудовищно трудно! А как бы – опять эти ярко-красные брючины, – а как бы это выразил, например, Аддисон? Пожалуйста – две собаки, и обе на задних лапах, – как бы, скажем,

передал это Лэм⁵⁶? Она читала сэра Николаса и его приятелей (когда ее не отвлекали), и у нее создалось впечатление – она встала и прошлась по травке, – впечатление – очень неприятное впечатление, – что никогда, никогда не следует выражать собственных мыслей. (Она стояла на берегу Серпантина. Он отливал свинцом; паучками скользили от берега к берегу лодки.) Они создают впечатление, что каждый обязан вечно, вечно писать, как кто-то другой. (Слезы накопились у нее в глазах.) Нет, правда, думала она, подпихивая ногой игрушечную лодочку, я, конечно, так не сумею (тут статья сэра Николаса, как это со статьями бывает через десять минут по прочтении, встала у нее перед глазами, вся целиком, вместе с комнатой сэра Николаса, его лицом, его кошкой, письменным столом и освещением дня), нет, я, конечно, так не сумею, продолжала она, рассматривая статью уже под этим углом зрения, – сидеть с утра до вечера в кабинете, да это и не кабинет никакой, а обшарпанная гостиная, сидеть в окружении хорошеньких мальчиков и рассказывать им анекдоты, но строго без передачи, о том, что Таппер сказал про Смайлза⁵⁷; и потом (она уже горько рыдала), у них у всех такой мужественный склад; и потом – я терпеть не могу герцогинь, я ненавижу пирожные; и пусть я, положим, бываю стервозной, но никогда мне не научиться быть стервозной в такой уж степени, и как я стану критиком, как буду создавать образцы современной прозы? А, пропади все пропадом! – крикнула она и так пнула со ступеней игрушечный пароходик, что эта бедная посуда чуть не потонула в свинцовых волнах.

Тут надо заметить, что, когда вы не в настроении (как выражаются няни) – а слезы все еще стояли в глазах у Орландо, – предмет, на который вы смотрите, не остается собой, но превращается в другой предмет, гораздо больше и важнее, хотя он как будто и тот же. Если вы посмотрите не в настроении на Серпантин, его волны станут огромными, как на Атлантике; игрушечные лодочки сделаются неотличимыми от океанских лайнеров. И Орландо спутала игрушечный корабль с бригом своего супруга, а поднятую собственной ногой волну приняла за водяную глыбу у мыса Горн; и, глядя на взбирающуюся по зыби игрушку, она видела, как корабль Бонтропа взбирается по огромной стеклянной стене: он взбирался все выше и выше, над ним нависал смертельный гребень, он скрылся в смертоносной пучине. «Утонул!» – ахнула она в ужасе, но вот он, целый и невредимый, показался среди уточек по ту сторону Атлантического океана.

– Какое счастье! – крикнула она. – Какое счастье! «Где тут телеграф? – подумала она. – Надо срочно телеграфировать Шеллу, ему рассказать...»

И, повторяя попеременно «лодочка на Серпантине» и «счастье», каковые понятия были нерасчленимы и означали в точности одно и то же, она заторопилась к Парк-лейн.

– Лодочка, лодочка, лодочка, – повторяла она, все более уверяясь, что не статья Ника Грина о Джоне Донне, не восьмичасовой рабочий день, не закон об охране труда на свете самое главное, но что-то тщетное, дикое, буйное, за что отдаешь жизнь; красное, лиловое, синее; взмет, всплеск, как эти гиацинты (она шла мимо клумбы); свободное от грязи, зависимости, людской заразы, заботы о себе подобных; нелепое и смешное, «как мой гиацинт, ой, что я, мой муж Бонтроп: вот оно, вот – игрушечная лодочка на Серпантине, счастье – счастье». Так она говорила вслух, пережидая движение у Стэнхоуп-гейт, потому что, когда живешь с мужем только в безветрие, начинаешь вслух говорить глупости на Парк-лейн – это неизбежно. Живи она с ним круглый год, в любую погоду, как предписывала королева Виктория, – тогда бы дело другое. Ну а так мысль о нем в нее вдруг ударяет молнией. Хочется непременно, немедленно с ним поговорить. Ей было решительно все равно, какой у нее получится вздор и – как это губительно повлияет на повествование. Статья Ника Грина повергла ее в пучину отчаяния, игрушечная лодочка на Серпантине подбросила ее на вершины восторга. И она повторяла: «Счастье, счастье», стоя и пережидая личное движение.

Но движение в этот весенний вечер было густое, и она долго стояла на тротуаре, повторяя «счастье, счастье» и «лодочка на Серпантине», покуда власть и богатство Англии, как отлитые в плащах и цилиндрах, сидели по пролеткам, викториям и ландо. Будто золотая река застыла и золотыми брусками перегородила Парк-лейн. Дамы держали в руках коробочки с визитными карточками; господа поигрывали золотыми набалдашниками меж колен. Она стояла восхищенно, благоговейно. Только одна-единственная мысль ей мешала, мысль, знакомая всякому, кто наблюдал огромных слонов или китов невозможных размеров, а именно: как исхитряются эти левиафаны, которым, очевидно, претит всякое волнение, перемена, движение, как исхитряются они производить себе подобных? Вероятно, думала Орландо, глядя на величавые, недвижные лица, время размножения для них миновало: это плоды, свершение; то, что она наблюдала, – триумф эпохи. Сидят – торжественные, роскошные. Но вот полицейский уронил руку – поток тронулся, хлынул. Монолит великолепных предметов раскололся, рассеялся, скрылся на Пиккадилли.

И она пересекла Парк-лейн и вошла в свой дом на улице Керзона, где при цветении таволги можно будет вспомнить про карканье дупелей и очень старого человека с ружьем.

Можно вспомнить, думала она, переступая порог своего дома, что говорил лорд Честерфилд, – но у нее вдруг отшибло память. Тихая прихожая восемнадцатого века – где лорд Честерфилд (она так и видела) вот сюда клал шляпу, вот сюда вешал плащ, столь изящно, великолепно, что одно наслаждение смотреть, – вся была завалена свертками. Пока она сидела в Гайд-парке, книгопродавец исполнил ее заказ, и дом был буквально забит – пачки сваливались с лестницы – полным собранием викторианской литературы, обернутой в бумагу и аккуратно перевязанной веревками. Она захватила в спальню сколько могла унести, приказала лакею принести остальное и, поспешно разрезав несчетные веревочки, тут же оказалась в окружении несчетных томов.

Привычная к малым литературам шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков, Орландо ужаснулась последствиям своего заказа. Потому что для самих викторианцев великая литература означала вовсе не четыре великих, отдельных, четко выделенных имени, но четыре великих имени, вкрапленных и погруженных в массу Смитов, Дик-сонов, Блэков, Милманов, Боклей, Тэнов, Пейнов, Тапперов, Джеймсонов⁵⁸ – громких, шумных, выдающихся и требовавших к себе не меньше внимания, чем все остальные. Благоговение Орландо

перед печатным словом подверглось нелегкому испытанию, но, придвинув кресло к окну, чтобы лучше поймать скудный свет, продирающийся меж высоких домов Мэйфэра, она честно старалась прийти к определенному выводу.

Ну а ясно, что существует только два способа прийти к определенному выводу относительно викторианской литературы: первый способ – исписать шестьдесят томов в осьмушку и второй – уложиться в шесть строк, вот с эту длиной. Из двух способов соображения экономии – ибо время поджимает – диктуют нам выбрать второй, и мы, стало быть, продолжаем. Орландо пришла к выводу (открыв полдюжины томов), что, как ни странно, в них нет ни одного посвящения знатному вельможе; далее (перерыв огромную кипу мемуаров), что у многих авторов родословное древо куда меньше ее собственного; далее, что крайне неуместно обертывать сахарные щипцы стофунтовой бумажкой, когда мисс Кристина Россетти⁵⁹ к вам приходит пить чай; далее (было тут множество приглашений на обеды по случаю столетних юбилеев), что литература, съев все эти обеды, не может не стать корпулентной; далее (ее приглашали на множество лекций о влиянии того-то на то-то; о возрождении классики; о восхождении романтизма и о других столь же увлекательных предметах), что, наслушавшись всех этих лекций, литература не может не стать скучной; далее (она приняла участие в приеме, данном одной знатной дамой), что

облаченная в такие меха литература не может не быть респектабельной; далее (она посетила звуконепроходимый кабинет Карлейля в Челси), что гений, нуждающийся в таких ухищрениях, не может не быть исключительно тонким; и наконец, она пришла к самому важному выводу, но мы и так уже давно вышли за рамки отпущенных нам шести строк и потому здесь его опустим.

Придя к этому выводу, Орландо еще долго стояла и глядела в окно. Ведь когда приходишь к какому-то важному выводу – это как будто ты закинул за сетку мяч и ждешь, когда тебе его перебросят обратно. Интересно, гадала она, что ей такое теперь пошлет бледное небо над домом лорда Честерфилда? Так она долго стояла, гадая, ломая пальцы. И вдруг она вздрогнула – и тут бы нам очень не помешало, чтобы Чистота, Невинность и Скромность, как в предыдущем случае, распахнули дверь и дали нам хоть дух перевести и хорошенько сообразить, как бы это поделикатней исполнить свой долг биографа и поднести читателю то, что придется ведь поднести. Ан не тут-то было. Бросив тогда на голую Орландо белые покровы и промахнувшись, эти дамы на многие годы оставили о ней всякое попечение и теперь, конечно, были заняты кем-то другим. Но неужто же так ничего и не произойдет линиялым мартовским утром, что смягчило бы, умерило, скрыло, занавесило, окутало явственное и, что ни говори, неоспоримое обстоятельство? Итак, Орландо ужасно вздрогнула... ой, слава Богу, в эту самую секунду за окном раздалось ломкое, тоненькое, нежное и разъемистое, старомодное дребезжание шарманки, какое и поныне еще производят итальянские музыканты по задворкам. Сочтем же это скромное вмешательство музыкой сфер, и пусть она, стеная и задыхаясь, наполняет звуками эту страницу, пока не настанет миг, который – отрицать невозможно – уже настает; дворецкий заметил; заметила горничная; читатель тоже скоро заметит; сама Орландо больше не может закрывать на это глаза, – пусть шарманка звучит, и, как лодочка, качающаяся под музыку на волнах, пусть уносит нас мысль – средство передвижения из всех самое несущественное и зыбкое, – пусть уносит нас через крыши, через задние дворики, где сушится на веревках белье, дальше, дальше – куда? Узнаете? Эту зелень и звонницу, сонных львов, с двух сторон стерегущих ворота? Да-да! Королевский сад! Сюда-то нам и надо! И раз уж мы оказались в Королевском саду, я покажу вам сегодня (второго марта) гиацинты и крокусы под сливовым деревом и на миндальном дереве почки, потому что гулять здесь – значит думать о луковках, волосатых и красных, брошенных в землю осенью и взошедших сейчас, и мечтать о том... да разве об этом расскажешь, – и, вынув сигарету и даже сигару, расстеливши мантилью (чего не пожалеешь для рифмы?) под ильмом, поджидать зимородка; говорят, как-то вечером видели – он летал от берега к берегу.

Погодите! Зимородок сейчас прилетит; зимородок не прилетает.

А пока поглядим на фабричные трубы, на дым, на конторщиков, проносящихся мимо в шляпке. Поглядим, как старая дама прогуливает собачку; а горничная надела новую шляпку, кажется чуть-чуть чересчур набекрень. Видите, видите? Небо милостиво распорядилось, чтоб тайны сердец все были сокрыты; вот нас вечно и тянет подозревать что-то, чего, наверное, вовсе и нет; тем не менее сквозь наш сигаретный дымок мы воочию видим исполнение желаний, собственных желаний – о шляпке, о шляпке, о мышке в канавке – и на них откликаемся радостью, вспышкой, как – до чего же нелепо прыгает и качается мысль на волнах под звуки шарманки, – как та давняя вспышка костра в полях под Константинополем.

Да здравствуют естественные желания! Да здравствует счастье! Божественное, милое счастье! И всякие-всякие радости, цветы и вино, хоть первые вянут и отравляет второе; и проезд за полкроны по воскресеньям из Лондона; и бормотание псалмов о смерти в темной часовне; все-все, что нарушает, и пресекает, и перечеркивает к чертям стрекот конторских машинок, сортировку депеш, кованье союзов, и уз, и цепей, удерживающих от развала империю. Да здравствуют даже красные дуги губ продавщицы (будто походя, поболтавши пальчик в красных чернилах, мазнул свой грубый знак Купидон). Да здравствует счастье! Зимородок, летающий от берега к берегу, исполнение желаний, всех естественных желаний, и пусть уж их определяет как хочет мужчина-романист; молитва, и отречение – да

здравствует все! Да, так в чем оно – счастье? В исполнении мечты? Темны воды этой реки; скучнее, обычной наш жребий; уютно, и гладко, и бодро катят воды под сенью ив; и зеленая тень потопляет лазурь крыла исчезающей птицы, летящей от берега к берегу.

Так да здравствует счастье, и долой пустые мечты, мутящие отчетливую картину, как туманят лицо потускневшие зеркала в захудалой гостинице; мечты, дробящие целое и рвущие сердца на части – ночью, когда надо спать; спать, спать, спать – так крепко, чтобы все образы перемалывались в тончайшую, нежную пыль, погружались в глубокую, непроглядную воду, и там, туго спеленутой мумией, мотыльком, мы лежим на песке, в глубоких глубинах сна.

Но что это? Что? Сегодня мы не отправимся в ту слепую страну. Синий, как вспышка спички в самом центре глазного яблока, он летит, он горит, он взламывает печать сна – зимородок; и опять, как в прилив, накатывают красные, густые воды жизни, вскипают и пенятся, и мы поднимаемся, смотрим в упор, и наш взор (что бы делали мы без рифмы на этом крутом перевале от смерти к жизни?) падает на... (но стоп, звуки шарманки вдруг смолкли).

– Чудесный мальчик, миледи, – сказала миссис Бантинг, повитуха. Иными словами, Орlando благополучно разрешилась мальчиком, в четверг, двадцатого марта, в три часа утра.

И опять Орlando стоит у окна, но мужайся, читатель, – ничего такого не случится сегодня; и сегодня совсем другой, отнюдь не тот же самый день. Нет, стоит нам посмотреть в окно, как Орlando сейчас смотрит, и мы увидим на Парк-лейн удивительные перемены. Можно пять минут простоять, вот как сейчас Орlando, и не увидеть ни единого ландо. «Смотрите!» – крикнула она несколько дней спустя, когда нелепая, усеченная какая-то карета без единой лошадки вдруг рванула с места сама по себе. Карета без лошади, о Господи! Тут Орlando как раз позвали, но потом она вернулась и опять выглянула в окно. Какая-то чудная стала теперь погода. Даже небо, как ни крути, и то изменилось. Уже не висит сырое, набухшее, призматическое, с тех пор, как король Эдуард – вот он, кстати, выходит из прелестного экипажа, идет через улицу, навестить известную даму – сменил на троне королеву Викторию. Тучи сжались до тоненькой дымки; небо как выковано из металла, в жару словно окисляющегося ярью и рыжеющего в тумане, как медь. Как-то неприятно, наводит тревогу это сжатие, эта усушка. Сжалось, сократилось буквально все. Вчера, проезжая мимо Букингемского дворца, она ни следа не обнаружила того, что, казалось ей, было сооружено на века; цилиндры, вдовьи вуали, трубы, телескопы, венки – все исчезло, даже мокрого места не осталось. Но сейчас – опять после перерыва она вернулась к своему наблюдательному пункту у окна, – сейчас, вечером, еще больше бросались в глаза перемены. Этот свет, например, в окнах! Только пальцем шевельнуть – и вся комната озаряется; озаряются сотни комнат, и решительно их не отличить одну от другой. Все-все видно в квадратных ящичках, никакой не осталось укромности; ничего не осталось: ни тех медлящих теней, тех скрытых углов, тех женщин в фартуках, осторожно ставивших на столы зыблющиеся лампы. Пальцем шевельнуть – и сияет комната. И все небо сияет ночь напролет; тротуары сияют; все сияет. В полдень она снова вернулась на свое излюбленное место. Какие стали женщины в последнее время узенькие! Просто тростинки – прямые, сияющие, одинаковые. А мужские лица теперь голые, как ладонь. От сухости атмосферы четче выступили краски, и мышцы щек затвердели, что ли. Трудней стало плакать. Люди повеселели. Вода нагревается в две секунды. Плющ завял, или его соскребли со стен. Хуже стали расти овощи. Меньше сделались семьи. Занавеси и покрывала свернули, оголили стены, так что только сверкающие изображения реальных вещей – улиц, зонтиков, яблок – развешаны в рамках или запечатлены на дереве. Что-то в эпохе появилось определенное, четкое, что ей напоминало восемнадцатый век, если б не эта рассеянность, это томление, – и не успела она так подумать, как длинный туннель, по которому она шла сотни лет, вдруг расширился, хлынул свет; ее мысли таинственным образом укрепились, сосредоточились, будто ловкий настройщик всадил в нее ключик и натянул до отказа нервы; у нее обострился слух, она слышала шелест и шорох в дальних углах комнаты, и часы на

камине уже не тикали, а как молотом били. Еще несколько секунд свет делался ярче и ярче, она видела все отчетливей; часы тикали громче и громче, и вот – бух! – в ушах ее грянул взрыв. Орландо содрогнулась, будто ее наотмашь огрели по голове. Ее огрели десять раз. И правда – было десять часов. Одиннадцатого октября 1928 года. Теперешний миг.

И стоит ли удивляться, если Орландо вздрогнула, прижала руку к сердцу и побледнела. Что может быть ужасней открытия, что сейчас – теперешний миг? И пережить такое открытие мы можем благодаря тому исключительно, что прошлое нас заслоняет с одной стороны и будущее с другой. Но сейчас нам некогда рассуждать. Орландо и так дико опоздала. Она сбежала вниз, бросилась в машину, нажала на стартер и поехала. Крепкие голубые постройки тянулись вверх; рыжие кудри дымок разбросались по небу; как серебряная шляпка гвоздя, сверкала дорога; белый скульптурный профиль шофера омнибуса нависал над Орландо; взгляд Орландо скользил по птичьим клеткам, и губкам, и ящичкам, обитым зеленым сукном. Но она ни на секунду не допускала все это в себя, по узенькой планке пересекая теперешний миг и боясь свалиться в кипящие волны. «Куда? Неужели нельзя посмотреть, куда идешь? Хоть бы руку подняли», – вот и все, что она выпаливала не задумываясь. Улицы были ужасно запружены. Люди переходили на другую сторону, совершенно не глядя. Гудели и жужжали за смотровым стеклом, промахивали мимо красными и желтыми промельками – ну пчелы и пчелы, подумала Орландо, но мысль эта, насчет пчел, тотчас пресеклась: снова краем глаза поймав перспективу, она увидела, что это человеческие существа. «Неужели нельзя посмотреть, куда идешь?» – огрызнулась она.

Наконец она притормозила у «Маршалла и Снелгрова» и вошла в магазин, осеняемая тенями и запахами. Струей обжигающей влаги спадал с нее теперешний миг. Как под легким дыханием зефира, колыхались огни. Она вытащила из сумочки список и стала читать странно сдавленным голосом, будто вертя слова – детские ботинки, соли для ванны, сардины – под многоцветной струей. И смотрела, как они меняются от освещения. Ботинки и соли притупились, облезли; сардины зубрились, как пила. Так и стояла она в первом этаже магазина господ Маршалла и Снелгрова, смотрела туда-сюда, принималась к одному запаху, к другому, и на это ушло у нее несколько секунд. Потом она вошла в лифт; просто были открыты дверцы – вот и вошла, и была плавно, гладко отправлена вверх. Жизнь теперь – просто чудо какое-то, – думала она, возносясь. – Мы в восемнадцатом веке знали, что из чего сделано, а тут – пожалуйста, я поднимаюсь по воздуху, я слышу голоса из Америки, вижу, как люди летают, – но, как это сделано, я даже отдаленно не постигаю. И возвращается моя вера в колдовство. Тут лифт, чуть подпрыгнув, остановился на втором этаже, и в глаза ей метнулось несчетное множество каких-то штучек, волнующихся в порывах воздуха, издающих странные запахи; и каждый раз, когда при остановке распахивались двери лифта, открывался какой-то новый срез мира и тянул за собою ему одному присущие запахи. Ей вспомнился Уоппинг елизаветинских времен, корабли с сокровищами, купецкие корабли, встававшие там на якорь. Как они странно, как пряно пахли! Как живо помнилась ей шероховатость рубинов, пропускаемых сквозь пальцы в драгоценных мешках! И как они держали со Сьюки – или как там ее звали? И фонарь лорда Камберленда им ударил в лицо! Теперь у этих Камберлендов дом на Портленд-плейс, на днях она у них обедала и поддразнивала старика по поводу богаделен на Шин-роуд. Он подмигивал. Но лифт дальше не шел, и ей оставалось выйти – о Господи! – в неизвестно как там у них называемый отдел. Она остановилась – справиться со списком, но, ей-богу, нигде, абсолютно нигде не было ничего похожего на соли для ванны и детские ботинки, списком рекомендованные. И она собралась уже снова спускаться, ничего не купив, но избежала этого отчаянного шага, вдруг автоматически выпалив вслух заключительный пункт списка, каковым оказались «двуспальные простыни».

– Двуспальные простыни, – сказала она человеку за прилавком, и, волею Провидения, именно за этим прилавком продавались эти самые простыни. А Гримздитч, нет, Гримздитч умерла; Бартоломью, нет, Бартоломью умерла; ну да, Луиза – Луиза на днях к ней явилась в ужасном смятении, потому что обнаружила дырку на простыне в ногах королевской постели.

Многие короли и королевы там леживали. Елизавета, Яков, Карл, Георг, Виктория, Эдуард; не диво, что простыня прохудилась. Но Луиза решительно не сомневалась в том, кто продырявил простыню. Принц-консорт.

– Грязный бош! – сказала она (мы опять воюем, на сей раз с Германией).

– Двухспальные простыни, – повторила в задумчивости Орландо; для двухспальной постели с серебряным покрывалом, в комнате, обставленной во вкусе, теперь казавшемся ей, пожалуй, чуть-чуть вульгарным, – все серебряное; но она ее обставляла, когда обожала этот металл. Пока человек ходил за простынями для двухспальной постели, она вытащила зеркальце и пуховку. Женщины сейчас куда непринужденней – думала она, не очень внимательно пудрясь, – чем были, когда она только что стала женщиной и лежала на палубе «Влюбленной леди». Она обдуманно придавала нужный оттенок носу. Щек она не пудрила никогда. Нет, честное слово, хоть ей сейчас тридцать шесть, она с виду не сделалась ни на день старше. Вся такая же сердитая, красивая, розовая (елочка, увешанная миллионом свечек, говорила Саша), как тогда, в тот день на льду, когда замерзла Темза и они бегали на коньках...

– Лучшее ирландское полотно, мэм, – сказал приказчик, раскладывая простыни на прилавке.

...они еще видели тогда ту старуху, она собирала хворост. И пока Орландо рассеянно щупала полотно, вращающаяся дверь вытолкнула из другого отдела – кажется, галантерейных товаров? – запах духов, запах воска, отдающий розовой свечкой, и этот запах раковиной охватывал фигуру – мальчика? девушки? – в мехах, в русских шальварах – юной, гибкой, обворожительной – девушки, о Господи! Но коварной изменщицы!

– Изменщица! – крикнула Орландо (приказчик ушел), и весь магазин закачался на желтых волнах, и она различала вдали мачты русского корабля, входящего в открытое море, и тут, чудом (дверь, вероятно, опять завертелась), образованная тем розовым запахом раковина превратилась в помост, в подиум, и с него шагнула толстуха в мехах, удивительно сохранившаяся, обворожительная, в диадеме, – любовница великого князя, та, что, склоняясь над Волгой, жуя бутерброд смотрела, как тонут люди, – и двинулась через весь магазин к Орландо.

– О Саша! – крикнула Орландо. В общем-то она ужаснулась тому, что с нею случилось: так растолстеть, и какая-то сонная; и Орландо склонилась над полотном, чтоб видение седой женщины в мехах, видение девушки в русских шальварах, вместе со всеми этими запахами розовых свечек, белых роз и русских матросов, прошло, незамеченное, у нее за спиной.

– Не желаете ли полотенец, салфеточек? – наседали человек за прилавком. И благодаря исключительно достоинствам списка, с которым Орландо еще раз справилась, сумела она с совершенным самообладанием ответить, что нет, ей нужна теперь одна-единственная вещь на свете, а именно соль для ванн, продающаяся в другом отделе.

Но, снова спускаясь в лифте – память ужасно капризная штука, – Орландо опять ушла от теперешнего мига далеко-далеко в глубины времени; и, когда лифт, содрогнувшись, остановился внизу, она услышала, как брякнулся о берег кувшин. Что же касается нужного ей – уж неизвестно какого там отдела, – она стояла растерянно посреди сумочек, не слыша рекомендаций всех этих вышколенных, напомаженных, черных, стройных приказчиков, конечно поднявшихся из тех же глубин, но ловко прикрывшихся теперешним мигом и прикинувшихся приказчиками Маршалла и Снелгрова – и только. Орландо стояла растерянно. Сквозь широкие стеклянные двери она видела Оксфорд-стрит. Омнибусы громоздились на омнибусы и – шарахались в разные стороны. Так налезали тогда одна на другую ледяные глыбы на Темзе. Одну оседлал старик вельможа в отороченных мехом туфлях. И пошел ко дну, проклиная ирландских мятежников. В точности на том месте утонул, где стоит ее автомобиль.

«Время меня обошло, – думала она, стараясь прийти в себя, – сейчас заря средневековья. Как странно! Все – то, да не то! Беру в руки сумочку, а думаю о вмерзшей в лед старой торговке. Кто-то зажигает розовую свечку, а мне мерещится девочка в русских

шальварах. Выхожу за дверь – вот как сейчас (она вышла на тротуар Оксфорд-стрит) – и чувствую под ногой траву. Слышу козы бубенцы. Вижу горы. Турция? Индия? Персия?»

Глаза ее наполнились слезами.

Наблюдая, как она садится в машину – а в глазах стоят слезы и видение персидских гор, – читатель, возможно, сочтет, что она слегка перегнула палку и чересчур далеко ушла от теперешнего мига. В самом деле, нельзя отрицать, что особенно поднаторевшие в искусстве жизни люди (обычно, кстати, никому не известные) ухитряются как-то синхронизировать шестьдесят или семьдесят разных времен, и все это вместе тикает в заурядном человеческом организме, и, когда отбивает, скажем, одиннадцать, все прочее бьет в унисон; настоящий миг не огорошивает открытием, но отнюдь и не тонет в глубинах прошлого. Об этих людях мы по всей справедливости заключим, что они прожили ровно шестьдесят восемь или семьдесят два года в точном согласии с показаниями надгробного камня. Ну а относительно некоторых других – кое про кого мы знаем, что они умерли, хоть они ходят среди нас; кое-кто еще не родился, хоть они меняются, взрослеют, стареют; кое-кому за сто лет, хоть они выглядят на тридцать шесть. Истинная же долгота человеческой жизни, что бы ни утверждал по этому поводу «Словарь национальных биографий»⁶⁰, всегда вопрос исключительно спорный. Да, трудная это штука – сообразоваться со временем; ощущение времени нарушается тотчас от соприкосновения с любым искусством; и не иначе как из-за своей страсти к поэзии забыла Орландо про свой список и отправилась домой без детских ботинок, без солей для ванн. И когда она взялась за дверцу автомобиля, настоящее опять ее огрело по голове. Огрело одиннадцать раз.

– Ах, к черту, все к черту! – крикнула она, потому что бой часов – вещь невыносимая для нервной системы, решительно невыносимая, и дальше мы покамест ничего не можем сообщить об Орландо, кроме того, что она хмурилась, прелестно переключала скорости и снова кричала: «Смотреть надо, куда идешь!», «Жизнь, что ли, надоела?» – покуда автомобиль скользил, летел, нырял, сворачивал – она была прекрасный водитель – по Риджент-стрит, Хей-маркету, по Нортгумберленд-авеню, через Вестминстерский мост, налево, прямо, направо и снова прямо...

На старой Кент-роуд в четверг одиннадцатого октября 1928 года было большое движение. Люди запрудили тротуары. Женщины тащили сумки. Бегали дети. В суконных лавках была распродажа. Улицы расширялись, сужались. Сбегались, разбегались пролеты. Вот рынок. Вот похороны. Вот процессия со знаменами, на которых написано аршинными буквами: «Про... Соед» – а дальше-то что? Мясо ужасно красное. В дверях мясники. У женщин каблук совсем сбиты. «Вино люб...» – над витриной. Из окошка выглядывает женщина, очень тихая, очень задумчивая. «Похор... при-надл». Ничего не увидишь, не поймешь, не прочтешь до конца. То, что начнется – идут, например, навстречу друг другу через улицу двое, – не кончится никогда. Через двадцать минут такой гонки на автомобиле из Лондона дух и тело делаются как обрывки бумаги, трухой высыпавшиеся из мешка, состояние это напоминает предобморочное, предсмертное даже, и вопрос о том, можно ли сказать об Орландо, что она существует в настоящее время, в теперешний миг, в известном смысле остается открытым. Нам пришлось бы, пожалуй, определить ее как окончательно распавшуюся личность, если бы вдруг направо не натянулся зеленый экран, на который бумажные клочья стали сыпаться более медленно; а потом налево натянулся другой, и уже различались отдельные хлопья, кружащие в воздухе; и вот справа и слева, с обеих сторон, ровно, ненарушимо тянулось зеленое поле, и к Орландо вернулась способность видеть и различать реальные вещи, и она увидела домик, и двор, и четырех коров – и все это в натуральную величину.

Едва это произошло, Орландо испустила глубокий вздох облегчения, зажгла сигарету и молча дымила несколько секунд. Потом позвала – неуверенно, как бы сомневаясь, что тот, кто ей нужен, окажется здесь: «Орландо?» Ведь если в нашем мозгу тикает одновременно

(по грубым подсчетам) семьдесят шесть разных времен, то сколько людей – даже подумать страшно – уместается и уживается одновременно, или не одновременно, в нашем мозгу? Иные утверждают, что две тысячи пятьдесят два. Так что нет абсолютно ничего удивительного, если человек, оставшись один, говорит: «Орландо?» (если это его имя), притом имея в виду – приди, ради Христа, мне сейчас до смерти надоело это именно мое «я». Хочу другое. Откуда и поразительные перемены, которые мы наблюдаем в наших друзьях. Однако не все, конечно, так-то уж просто, потому что, хотя каждый может позвать, предположим, как сейчас вот Орландо (выехавшая за город и пожелавшая, вероятно, увидеть на своем месте другое какое-то «я»), «Орландо?» – отсюда еще вовсе не следует, что эта Орландо явилась. Ведь у наших «я», нагроможденных одно на другое, как тарелки в руках у буфетчика, есть где-то свои дела, свои склонности, собственные свои конституции и права, или как там вы их назовете (а у многих таких вещей вообще никакого названия нет), и одно является только во время дождя, другое только в комнате с зелеными шторами, третье только в отсутствие миссис Джонс, четвертое – если ему посулить стаканчик винца, и так далее и тому подобное; каждый, основываясь на собственном опыте, может продолжить список условий, которые ставят ему его разные «я», и многие из них так нелепы и смехотворны, что их даже совестно вставить в книжку.

Итак, Орландо на повороте к сараю позвала: «Орландо?» – вопросительным тоном и стала ждать. Орландо не явилась.

– Ну ладно, – сказала Орландо с бодростью, какую мы на себя напускаем в подобных случаях, и попробовала еще раз. Ведь у нее было великое множество разных «я», гораздо больше, чем нам удалось отразить, ибо биография считается завершенной, когда отражено шесть-семь «я», тогда как их бывает у человека гораздо больше тысячи. И – выбирая лишь те из этих «я», для которых у нас нашлось место – Орландо, может быть, звала сейчас того мальчика, который срезал голову негра; того мальчика, который ее снова привязывал; мальчика, который лежал на горе, который видел поэта, протягивал чашу розовой воды Королеве; или, может быть, она звала того юношу, который влюбился в Сашу, или придворного – посла – воина – путешественника; или, может быть, она звала сейчас женщину – цыганку, знатную даму, отшельницу, девушку, влюбленную в жизнь, покровительницу литературы; женщину, звавшую Мара (разумея горячие ванны и вечерние свечи), или Шел-мердина (разумея крокусы в осенних лесах), или Бонтропа (разумея смерть, которой ежедневно мы умираем), или она звала всех троих сразу, разумея столько разных вещей, что мы для них здесь не располагаем достаточным местом, – и все эти «я» были разные, и неизвестно, какое из них она сейчас звала.

Возможно; но, кажется, определенно одно (здесь мы попадем в область «возможно» и «кажется») – то «я», которое ей больше всех было нужно, от нее держалось подальше, потому что она, как ее послушать, меняла свое «я» со скоростью своей же езды – новое на каждом повороте, – как бывает, когда по каким-то непреодолимым причинам сознательное «я», в данную минуту одержавшее верх и получившее право желать, хочет быть только собою, и все тут. Многие называют его «истинным я», и оно якобы вбирает в себя все «я», из которых мы состоим, – «ключевым я», которое подчиняет себе все остальное. Орландо, конечно, искала это «я», как читатель может судить по тому, что она говорила, ведя машину (пусть она порола несвязные, скучные, пошлые тривиальности, молола порой невнятицу, но читатель сам виноват: нечего подслушивать, как рассуждает дама сама с собой; наше дело сторона, мы только передаем слова, в скобках прибавляем, какое «я» высказывается в данном случае, причем, естественно, мы можем и ошибаться).

– Ну и что же? Ну и кто же? – говорила она. – Тридцати шести лет. В авто. Женщина. Но ведь еще миллионы разных вещей. Сноб? Орден Подвязки в кабинете? Леопарды? Предки? Кичусь? Да! Азартна, люблю роскошь, стервозна? Да? (Тут явилось новое «я».) Ну и пусть. Честная? По-моему, да. Щедрая? Подумаешь, эка важность. (Тут явилось новое «я».) По утрам валяться в постели на тончайших простынях, слушать голубей; серебряная посуда – вино – горничные – лакеи. Неженка? Очень возможно. (Тут явилось новое «я».) Слишком

много лишнего. Мои книги. (Тут были перечислены пятьдесят классических названий, прикрывавших, мы полагаем, ранние романтические труды, которые она порвала.) Покладистая, общительная, романтическая. Но... (Тут явилось новое «я».) Тупица. И дура. Более нелепой дурищи представить себе не могу. И... и... (она долго подыскивала нужное слово, и, если мы подскажем «любовь», мы, возможно, ляпнем что-то совсем некстати, но... она безусловно покраснела и расхохоталась) и жаба, усеянная изумрудами! Эрцгерцог Гарри! Навозные мухи на потолке! (Тут явилось другое «я».) А как же Нелл? Китти? Саша? (Она пригорюнилась, на глаза навернулись слезы, а ведь она давно отстала от этой привычки – плакать.) Деревья, – сказала она. (Она проезжала мимо кучки деревьев. Высунулось новое «я».) – Люблю деревья. И эти деревья, они стоят тут тысячи лет. И амбары (она миновала покосившийся амбар на обочине). И овчарок (овчарка выскочила на дорогу, она ее аккуратно объехала). И ночь. А людей... (Тут явилось новое «я».) Людей? (Уже вопросительно.) Не знаю. Вредные, злые, вруны. (Она свернула в главную улицу своего родного города, сильно запруженную, по причине базарного дня, фермерами, пастухами, старухами с курицами в корзинках.) Люблю крестьян. Кое-что смыслю в сельском хозяйстве. Но... (Тут еще новое «я» пробилось к вершине сознания, как луч маяка.) Слава? (Она засмеялась.) Люблю ли я славу? Семь изданий. Премия. Фотографии в вечерних газетах. (Она имела в виду «Дуб» и мемориальную премию баронессы Бердетт-Кутс ⁶¹, которую ей пожаловали, и тут мы улучим момент и заметим, как обидно биографу, что такая важнейшая вещь, объявление, которому быть бы венцом, заключением книги, делается этак вскользь, походя, да еще с хохотком, но, честно сказать, когда пишешь о женщине, а не о мужчине, все получается вкривь и вкось, все торжественные места; ударения падают совсем не на то.) Слава, слава, – повторила она. – Поэт – он же шарлатан; они, что ни утро, – сливаются, с регулярностью почты. Обеды, встречи; встречи, обеды; эх, слава! (Тут ей пришлось притормозить, пробираясь сквозь толпу. Ее никто не замечал. Дельфин в рыбной лавке и тот привлекал больше внимания, чем дама, которая получила литературную премию и могла, если бы захотела, нацепить на себя сразу три короны, одна на другую.)

Она ехала очень медленно и, как старинную песенку, напевала: «На мои гинеи куплю я деревья в цвету, деревья в цвету, в цвету и буду под ними гулять и своим сыновьям объяснять, что такое слава». Так она напевала, пока слова не стали провисать (появилось новое «я»), как дикарская снизка тяжелых бусин. «Под деревьями буду гулять, – пела она, теперь уже выделяя каждое слово, – и смотреть, как восходит луна, восходит, восходит, и тележки все едут и едут...» Тут она вдруг умолкла и пристально уставилась на капот собственной машины в глубочайшей задумчивости.

«Он сидел за столом у Туитчетт, – думала она, – в грязном жабо... То ли это старый мистер Бейкер пришел замерять бревна? То ли Ш – сп – р?» (Ведь когда мы про себя выговариваем драгоценное имя, мы никогда не произносим его полностью.) Десять минут целых смотрела она прямо перед собой и чуть не остановила машину.

– Одержимая! – крикнула она, вдруг нажимая на акселератор. – Одержимая! С самого раннего детства. Вот летел дикий гусь. Мимо летел. К морю. И я прыгала и тянула к нему руки. Но гуси слишком быстро летают. Я видела... там, там, там. В Англии, Италии, Персии... Всегда они слишком быстро летают. И всегда я закидываю им вслед слова, как невод (она выбросила вперед руки), и он падает, пустой, как падал на палубу невод, пустой, я видела, только с одними водорослями. Часто, правда, что-то блестит – серебро, шесть слов – под водорослями в темноте. Но никогда не попадет в него крупная рыба, живущая в коралловых гротах.

Она уронила голову в глубокой задумчивости.

И как раз в эту секунду, когда она уже перестала звать «Орландо» и задумалась совсем о другом, Орландо, которую она так долго звала, пришла по собственной доброй воле, взяла и явилась, что с очевидностью доказывали перемены, происшедшие с нею, когда она

въезжала через ворота в парк.

Все в ней стемнело и стихло, – так одна какая-нибудь загогулина завершает орнамент, и плоскость обретает глубины, близкое становится дальним; и все замыкается, как вода в стенках колодца. Так и она стемнела теперь и стихла, сделавшись с прибавлением этой Орландо тем, что – верно ли, нет ли – называют единственным «я», истинным «я». Вот она и замолчала. Вероятно, когда человек сам с собой говорит вслух, все его «я» (а их у каждого больше двух тысяч) чувствуют свою расчлененность и стремятся воссоединиться; но когда воссоединение достигнуто – тут уж больше не о чем говорить.

Быстро, мастерски она одолела поворот между дубами и вязами по дерну парка, по его медленной тихой пологости, такой тихой, текучей, что будь, скажем, вместо дерна вода, она нежной зеленой волной затопляла бы берег. Торжественными группками, так, как их высадили, стояли дубы и буки. Меж ними ступали олени, один был белый как снег, другой склонил голову набок, потому что в рогах у него застряла какая-то проволока. Все это – деревья, оленей, дерн – она разглядывала с таким удовлетворением, будто душа ее стала жидкостью, которая все омывала, над всем смыкалась. Еще минута, и она въехала во двор, куда не одну сотню лет она являлась верхом или в карете цугом, предшествуемая или сопровождаемая свитой, и склонялись плюмажи, качались факелы, и те же, теперь роняющие листву, осыпали свой цвет деревья. Сейчас она была одна. Опадали осенние листья. Привратник отворил тяжелые ворота. «Привет, Джеймс, – сказала она. – Там у меня кое-что в машине. Вы внесете?» Слова, сами по себе лишённые веса, выразительности, увлекательности и, согласимся, особой прелести, но сейчас они так утучнились смыслом, что упали, как переспелые орехи с ветки, тем самым доказывая, что стоит начинить скукоженную шкурку повседневности побочным значением, и она приобретает способность удивительно действовать на наши чувства. То же сейчас относилось и ко всем движениям, всем поступкам Орландо, как ни были они обыденны; и смотреть, как она сбросила юбку и облачилась в холщовые брюки и кожаную куртку – все это за три минуты, – было не меньшим наслаждением, чем наблюдать, как мадам Лопухова ⁶²демонстрирует вершины своего мастерства. Потом широким шагом она направилась в столовую, где старые друзья – Драйден, Поп, Свифт, Аддисон – сперва ее как бы разглядывали с подозрением – вот, мол, явилась, лауреатша, – но, смекнув, что речь идет о двухстах гинеях, одобрительно закивали. Двести гинея, казалось, говорили они; двести гинея – это вам не комар начхал. Она отхватила ломоть хлеба, отрезала ветчины, плюхнула одно на другое и принялась жевать на ходу, разом покончив со своими светскими манерами. Сделав пять-шесть кругов, она опрокинула стаканчик красного испанского вина, налила другой и, зажав его в руке, зашагала по длинному коридору, через десяток гостиных, начав, таким образом, свой обход дома в сопровождении тех борзых и спаниелей, которые пожелали за нею следовать.

Все это входило в ритуал. Как она не могла бы, придя домой, не поцеловать собственную бабушку, так не могла она не поздороваться со своим домом. С ее появлением комнаты веселели, – встрепенувшись, открывали глаза, будто в ее отсутствие скучно дремали. И хоть она их видела сотни и тысячи раз, они никогда не повторялись: за долгие годы в них скопилась тьма всяких настроений, вот они и менялись зимою и летом, в вёдро и в дождь, в зависимости от ее неудач и удач, от характеров ее гостей. Чужих они всегда встречали учтиво, разве чуть-чуть устало. С нею им всегда весело. А как же иначе? Знакомы вот уже почти четыреста лет. И нечего друг от друга скрывать. Она все-все про них знает, все радости и печали. Знает возраст каждой комнаты, ее маленькие секреты – дверцу, полочку, шкафчик, недочет какой-нибудь, – скажем, что-то меняли, чинили, достраивали. Они ее тоже знают во всех ипостасях. Она от них ничего никогда не скрывала. Являлась к ним мальчиком, женщиной – в радости и слезах. Здесь, на этом подоконнике, были написаны первые строки; в этой часовне ее венчали. Здесь и похоронят, думала она, забравшись с коленками на подоконник в длинной галерее и потягивая испанское вино. Ужасно трудно

себе представить, но ведь такой же точно желтой зыбью прольется на пол с витража геральдический леопард в тот день, когда ее тело положат в склепе меж предков. Она, ни на йоту не верящая ни в какое бессмертие, чувствует все равно, что душа ее будет вечно бродить вот по этим красным панелям, по этим зеленым диванам. А комната – она забрела в опочивальню посла – сияла, как раковина, века пролежавшая на дне морском и в миллионы разных цветов выкрашенная водою: розовая и желтая, зеленая и песочная. Хрупкая, как раковина, она была и – пустая. Никакой посол больше не придет сюда спать. Ах, но она же знает, где все еще бьется сердце дома. Тихо отворив дверь, затаившись на пороге так, чтобы комната ее не заметила, она смотрела, как колышутся и опадают шпалеры от неугомонного, вечного ветерка. Все скачет и скачет охотник; все убегает Дафна. Все бьется это сердце, слабое, замирающее, – хрупкое, неукротимое сердце огромного дома.

И, призвав своих верных собак, она пошла по галерее, выстланной цельными, вдоль распиленными дубами. Мерцая поблекшим бархатом, ряды кресел выстроились вдоль стен, простирая ручки к Елизавете, к Якову, быть может, к Шекспиру и Сесилу – к тем, кто уже не придет. От этого зрелища ей взгрустнулось. Она отцепила их ограждавший канат. Села в кресло Королевы – полистала манускрипт на столике у леди Бетти – поворошила пальцем древние розовые лепестки – расчесала серебряными щетками короля Якова свои короткие волосы – попрыгала на его постели (никакой никогда уж не будет здесь спать король, несмотря на все Луизины новые простыни), прильнула щекой к потускневшему серебряному покрывалу. И везде были эти лавандовые мешочки от моли и таблички «Прошу не трогать», которые, хоть она сама их писала, на нее глядели с укором. Нет, дом уже не весь в ее власти, вздыхала она. Он принадлежит времени: истории, вышел из подчинения живых. Никогда уж не будут здесь проливать вино, думала она (она вошла в комнату, где гостил когда-то старый Ник Грин), прожигать дыры в ковре. Никогда уже двести слуг не побегут, грохоча, по галереям, с грелками, огромными ветками для огромных каминов. Никогда уж не будут варить эль, лить свечи, обивать седла, обтачивать камень в здешних службах. Молчат молоты и кувалды. Пусты кровати и кресла; кубки из золота и серебра заперты в шкафах. Огромными крыльями бьет тишина в опустелом доме.

И Орландо села в жесткое кресло королевы Елизаветы в конце галереи, и собаки легли вокруг. Галерея тянулась далеко, к тому месту, где почти исчезал свет. Как туннель, вырытый в далекое прошлое. Когда ее взгляд пробился сквозь тьму, она различила людей за веселой беседой – великих людей, каких она знавала: Драйдена, Свифта, Попа; и государственных мужей, заседающих в совете; и любовников, обжимающихся по подоконникам; и жующих и пьющих за длинными столами гостей; и клубящийся над их головами дым, от которого они чихали и кашляли. Еще глубже увидела она блистательных танцоров, изготовившихся для кадрили. Звучала зыбкая, хрупкая, но все равно величавая музыка. Рокотал орган. Гроб выносили из часовни. Из часовни выходила свадьба. Воины в шлемах отправлялись воевать. Приносили из походов знамена Флоддена и Пуатье, вешали по стенам. Так заполнялась длинная галерея, и, вглядываясь глубже и глубже, в самом конце Орландо увидела за елизаветинцами и Тюдорами более старый, и дальний, и темный образ, суровую фигуру в сутане – монаха, и он шел, стиснув руки, с книгой и бормотал...

Как гром, часы на конюшне пробили четыре удара. Никогда еще никакое землетрясение не сотрясало так целый город. Галерея вместе со всем, что на ней, рассыпалась в прах. Лицо самой Орландо, темное и серьезное, пока она смотрела, озарилось теперь как пороховой вспышкой. В том же свете все рядом с нею выступило с необычайной отчетливостью. Она увидела двух кружащих мух, отметила их синий отлив; увидела глазок на доске возле своей ноги, подрагивание собачьих ушей. И еще она слышала, как хрустнул сучок в саду, проблеяла в парке овца, пролетел мимо окон стриж. Все тело у нее дрожало, его жгло, будто она голая стояла на морозе. Однако она сохраняла – вот уже чего не было в Лондоне, когда часы пробили десять – полное самообладание (видно, сейчас она была единая, цельная и под удары времени подставлялась большая поверхность). Она поднялась неспешно, кликнула собак и пошла – твердой и собранной, но упругой и быстрой походкой,

вниз по лестнице, в сад. Тени растений выступали со странной отчетливостью. Она различала каждый комочек земли на клумбах, будто в глаз ей вставили микроскоп. Она различала хитросплетение веток на каждом дереве. В каждой былинке, в каждой цветке различала она все лепестки и жилки. Стаббс, садовник, шел по тропе, и она видела каждую пуговку на его гамашах; видела Бетти и Принца, своих упряжных лошадок, и никогда прежде не видела она так отчетливо белую звезду у Бетти на лбу и три длинных отдельных волоса, низко свисавших с хвоста у Принца. Дальше, в квадрате двора, старые серые стены сияли, как на новеньком фотографическом снимке; из громкоговорителя на террасе лилась танцевальная музыка, которую сейчас слушали в алеющей бархатом Венской опере. Собранный, подстегиваемый теперешним мигом, она одновременно испытывала странный страх, будто каждый раз, когда разверзалась пропасть времени и в ней тонула секунда, это было чревато опасностью. Такое сильное напряжение невозможно было долго выносить без муки. Быстрее, чем ей бы хотелось, будто ноги сами несли ее и не слушались, она прошла по саду и вышла в парк. Огромным усилием воли она заставила себя остановиться у плотницкой и замерев смотрела, как Джо Стаббс ладит колесо. Она не отрывала глаз от его рук, когда пробило четверть. Удар пронесся сквозь нее метеором, горячим, какой не удержишь в пальцах. С тошнотворной отчетливостью она увидела, что на большом пальце правой руки у Джо нет ногтя и вместо него разлито кровянистое блюдечко. Зрелище было такое ужасное, что она ощутила мгновенную дурноту, но в этой мгновенной, зыблущейся, зарешеченной тьме тяжесть настоящего вдруг отпустила. Что-то странное есть в тени собственных дрожащих ресниц, что-то (сами можете убедиться, вот сейчас же глянув на небо), чего нет в настоящем – откуда и вся его трудность, неопределимость, – что-то, что мы не решаемся, насадив на булавку имени, назвать красотой, ведь оно бестелесно, тень не имеет собственных качеств, но обладает властью преображать все, с чем соприкасается. И пока ей было дурно и веки ее трепетали, эта тень ускользнула из плотницкой и, присоединяясь к несчетным образам, какие ловила Орландо, делала из них нечто иное, сносное и умопостижимое. Ну вот, думала Орландо, испутив глубокий вздох облегчения и сворачивая от плотницкой, чтобы идти в гору, ну вот, можно еще начать жизнь сначала. Я возле Серпантина, игрушечная лодочка пробирается сквозь белую арку смерти. Я вот-вот пойму...

Такие слова произносила она, и притом довольно отчетливо, однако, что греха таить, она сейчас оставалась вполне безразлична к тому, что разворачивалось перед ее взором, и легко могла принять овцу за корову, а старика по имени Смит за другого – по имени Джонс, и даже ему не родственника. Ибо тень дурноты, вызванной пальцем без ногтя, сейчас залегла в глубине ее мозга (самом отдаленном от зрения месте), стала прудом, где

вещи плавают в темноте, такой глубокой, что мы про них почти ничего не знаем. Она смотрела сейчас в этот пруд или, может быть, море, где отражается все, ведь некоторые вообще утверждают, будто все наши самые буйные страсти, и религия, и поэзия – суть отражения, которые мы видим в темной впадине в глубине головы, когда внешний мир отступает. Вот она и смотрела туда долго-долго, задумчиво, и заросшая стежка, по которой она поднималась в гору, уже стала не стежка, но отчасти и Серпантин; кусты боярышника были отчасти дамы и господа с золотыми набалдашниками и визитными карточками; овцы были отчасти высокими домами Мэйфэра, – все решительно было отчасти чем-то еще и обретало от этого единения трогательную, странную власть; и от диковинной смеси правды и подтасовки мысль Орландо стала как лес, где блуждало что-то, сменялись тени и свет и одно становилось другим. И если бы любимый пес Канут, погнав зайца, ей не намекнул таким образом, что дело идет к пятичасовому чаю – на поверку оказалось двадцать три минуты шестого, – она бы совсем забыла о времени.

Заросшая стежка, виляя, взбиралась все выше и выше, к стоящему на вершине дубу. Он вырос, раздался и заматерел с тех пор, как она познакомилась с ним, в году, кажется, тысяча пятьсот восемьдесят восьмом, но был все еще в самой поре. Некрупные четкие листья густой массой качались на ветках. Бросившись ничком, Орландо почувствовала под собою косточки дерева, как ребра, в разные стороны отходившие от хребта. Ей нравилось, что она скачет на

крупе мира. Приятно было прикинуть к чему-то твердому. И когда она вот так бросилась ничком, из нагрудного кармана кожаной куртки выпала переплетенная в красное сукно небольшая книжница – поэма «Дуб». Надо бы лопатку захватить, подумала Орландо. Корни почти обнажились, и затея зарыть здесь книжку ей уже представлялась сомнительной. Да и собаки выруют. Символические церемонии вообще редко удаются, подумала она. И чёрта ль в них. У нее на языке вертелось торжественное слово, заготовленное на случай погребения книжки (экземпляр первого издания, надписанный автором и художником). «Я погребаю книгу, – намеревалась она сказать, – воздавая земле за то, что подарила мне земля». Но Боже и Господи Сил! Высказываемое вслух, до чего же по-идиотски это звучало! Ей вспомнился старый Грин, взбиравшийся недавно на подиум, с тем чтоб отождествить ее с Мильтоном (за исключением его слепоты) и вручить ей чек на двести гиней. Она тогда подумала про свой дуб на горе и спрашивала себя, что он имеет со всем этим общего? Что общего слава и почести имеют с поэзией? Что общего имеют семь изданий (семь, как ни верти!) с ее истинной ценностью? Разве поэзия – не тайная связь, не голос, отвечающий голосу? И вся эта сутолока, лесть и хула, и встречи с теми, кто тебя почитает, с теми, кто тебя не почитает, – что общего во всем этом с сутью: голос отвечает на голос? Что может быть более тайного и медлящего, чем соитие влюбленных, чем спотыкающийся ответ, который она годами давала шелестящей песне лесов, и мызам, и вороним, грива к гриве ожидающим у ворот, и кузнице, кухне, полям, так прилежно растяжим пшеницу, репу, траву, и садам, расцветающим ирисами и бальзаминами?

И она оставила книгу непогребенной и растрепанной лежать на земле и стала смотреть на окрестный простор, переменчивый, как океанское дно, то озаряемый солнцем, то помрачаемый тенью. Вон деревушка, церковная башня меж вязов; серый купол господской усадьбы; луч, играющий с парниковым стеклом; хутор и золотые стога. Поля, разграниченные темными сходками буков, а за полями, темные, долгие, протянулись леса, а дальше мерцает река, и снова за нею холмы. В дальней дали тучу проткнули белые скалы Сноудона. Она видела дальние горы Шотландии, белый кипень волн, разбивающихся о Гебриды. Она слышала с моря пушечный гром. Нет, не то, это ветер. Нет же войны. Нет больше Дрейка; нет Нельсона. А ведь все это, – думала она, переведя взгляд с дали, по которой он бродил, снова на землю внизу, – все это было мое, этот замок среди дюн был мой; мои были все эти вересковые пустоши, убегające к самому морю. И тут пейзаж (возможно, по прихоти угасавшего света) сотрясся, собрался шатром, весь груз домов и лесов стряхнув на сторону. Перед Орландо стояли голые горы Турции. Был сверкающий полдень. Глаза ее упирались в раскаленный склон. Козы ощипывали у ее ног выцветшую траву. Над нею парил орел. Хриплый голос цыгана Рус-тума скрипел у нее в ушах: «Что твой древний род и богатства в сравнении вот с этим? К чему тебе четыреста спален, и серебряные крышки для каждого блюда, и все твои горничные?»

В ту же секунду где-то в долине ударил церковный колокол. Рухнул шатероидный пейзаж. Снова ей на голову обрушилось настоящее, но сейчас, в вечеряющем небе, оно смягчилось, уже не навязывало своих мелочей и подробностей, предлагая только дымные луга, и огни в деревенских домах, и бескрайнюю сумрачность леса, и веерный луч, разгоняющий тьму на какой-то далекой дороге. Орландо не знала, сколько пробило – девять, десять, одиннадцать? Настала ночь, ночь – из всех частей суток ей самая милая, ночь, когда отражения в темном пруду души сияют нежнее, чем днем. Сейчас уже не было нужды терять сознание, чтоб заглянуть во тьму, где роятся и нарождаются образы, и видеть в темном пруду то Шекспира, то девочку в русских шальварах, то игрушечную лодочку на Серпантине, а то и сам Атлантический океан, огромной волною обрушивающийся на мыс Горн. Мужний бриг взбирается на вершину волны! Выше, выше! Белая арка смерти встает перед ним. Безрассудный, смешной человек, вечно кружащий – зачем? – в бурю вокруг мыса Горн! Но бриг уже одолел арку, вынырнул с другой стороны. Целый и невредимый!

– Какое счастье! – крикнула она. – Какое счастье!

И тут ветер улегся, стихли воды; она увидела мирную зыбь под луной.

– Мармадюк Бонтроп Шелмердин! – крикнула она, стоя под дубом.

Дивное, блистающее имя упало с неба сине-стальным пером. Она смотрела, как оно кружит и медлящею стрелой рассекает глубокий воздух. Он придет, как всегда он приходит, в настороженной тишине, когда зыблется рябью вода и листья бесшумно стелются под ноги в осенних лесах; когда леопард застывает, и луна стоит над водой, и ничто в целом свете не шелохнется. Вот когда он приходит.

Все было тихо. Близилась полночь. Луна очень медленно поднялась над просторами. Лунный луч воздвиг над землей призрачный замок. Огромный дом глядел всеми окнами, застланными серебром. Дом был бесстенный, бесплотный. Весь он был призрак. Весь тихий. Весь озарен в ожидании покойной Королевы. Глянув вниз, Орландо увидела во дворе темное колыхание плюмажей, дрожание факелов, коленапреклонение теней. Снова выходила из кареты Королева.

– Замок ждет вас, Ваше Величество, – с глубоким реверансом крикнула Орландо. – Тут ничего не меняли. Покойный хозяин, мой отец, введет вас в дом.

И пока она говорила, упал первый удар полуночи. Остужающее дыхание настоящего мазнуло ее по щеке. В тревоге она глянула на небо. Его обложили тучи. Ветер завыл в ушах. А сквозь вой ветра она различила рокот аэроплана – все ближе, ближе.

– Сюда! Шел! Сюда! – кричала она и подставляла грудь луне (уже всюю рассиявшейся), и, как яйца огромного лунного паука, блестели ее жемчуга. Аэроплан прорвался сквозь тучи, повис над ее головой. Парил над нею. Жемчуга фосфористо светились во тьме.

И когда Шелмердин, теперь настоящий морской капитан, возмужавший, плечистый, обветренный, прыгнул наземь, над головой у него взметнулась одинокая дикая птица.

– Это же гусь! – крикнула Орландо. – Дикий гусь...

Упал двенадцатый удар полуночи – двенадцатый удар полуночи в четверг одиннадцатого октября тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

Литературная игра в романе Вирджинии Вулф «Орландо»

Имя выдающейся английской писательницы Вирджинии Вулф (1882 – 1941) уже знакомо русскому читателю. Активная участница знаменитой модернистской группы «Блумсбери», она, едва вступив на путь литературы, оказалась в центре важнейших событий интеллектуальной жизни Англии. Трудно переоценить значение ее знаменитых романов «Миссис Дэллоуэй» (1925) и «На маяк» (1927). Их импрессионистическая манера шла вразрез с привычной для европейского читателя «логикой факта», которую по сей день отстаивают сторонники традиционных литературных форм.

Техника, использованная Вулф, требовала предельного напряжения духовных и физических сил, что в конечном итоге привело писательницу, изначально склонную к депрессии, на грань безумия и стало причиной ее самоубийства. Завершение каждого из романов отнюдь не приносило ей удовлетворения и облегчения, а, напротив, становилось поводом для еще большего нервного напряжения. Исключением, пожалуй, явился лишь «Орландо» (1928). Углубленное видение сменяется здесь блестящей литературной игрой в духе Дж. Джойса или раннего Т. С. Элиота, – игрой, которая не могла не принести писательнице удовольствия. Это отчасти связано с тем, что роман был задуман как своеобразное «объяснение в любви» Вите Сэквилл-Уэст, аристократке, принадлежащей к весьма старинному роду. Именно Вита явилась прототипом Орландо, и ей был посвящен этот удивительный роман.

«Орландо» чрезвычайно сложен для понимания. Мало того, он зачастую вызывает недоумение даже у горячих почитателей или почитательниц Вирджинии Вулф (это на первый взгляд совершенно ненужное, но чрезвычайно корректное добавление, которое, надеюсь, оценят феминистки, одобрила бы и сама писательница). Действительно, совмещение приемов биографической и импрессионистической прозы, чередование языков

различных литературных эпох вызывают ощущение, что в романе просто нет единства. «Орландо» можно прочесть как огромное эссе или своего рода историю английской литературы с конца XVI по XX вв. Но если Вирджиния Вулф ставила своей целью написать именно научно-критическую работу, зачем ей понадобился фантастический и совершенно неубедительный с точки зрения науки сюжет о человеке, живущем триста лет да еще сменившем за это время свой пол? Уж эти две «материи» абсолютно несовместимы. Конечно же, такая великая писательница, как Вирджиния Вулф, прекрасно понимала, что делает. И было бы непростительной наивностью обвинять ее в неспособности правильно выстраивать художественную эстетическую реальность. Именно она и принадлежала к тем художникам, которые умели создавать целостные, обусловленные собственными внутренними законами художественные миры.

Как нужно читать роман? Какие проблемы пыталась в «Орландо» решить Вирджиния Вулф? На эти вопросы мы и попытаемся ответить.

Появившись на литературной сцене, Вулф тотчас же вступила в жесткую полемику с современными ей писателями-реалистами – Дж. Голсуорси, А. Беннеттом и Г. Уэллсом. В своих знаменитых эссе «Современная проза» (1919) и «М-р Беннетт и миссис Браун» (1924) она критикует принцип стороннего взгляда, предполагающий, что рассказ ведется от имени всезнающего автора, который «объективно» оценивает происходящее. Возникает дистанция между автором (следовательно, и читателем) и изображаемой реальностью, включающей в себя также героя с его внутренним миром. С точки зрения Вирджинии Вулф, персонаж в романах, где правит сторонний взгляд, выглядит как набор заранее заданных свойств, которые читатель способен осмыслить рационально, но не в состоянии прочувствовать, пережить. Жизнь героя сводится к его *биографии*, а она превращается в основу сюжета. Но жизнь – это не только события, происходящие с человеком. Она шире и вбирает в себя мысли, переживания, несовершенные поступки, нереализованные и незасвидетельствованные возможности. Все это присутствовало в романах реалистов, но не работало, а оставалось незамеченным где-то на периферии. Ошибка реалистов заключалась в том, что позиция «стороннего наблюдателя» заставляла их следовать традиционным повествовательным формам, и в частности вводить связный (иногда чрезвычайно увлекательный!) сюжет.

Увы! Читатель любит книги с сюжетом. Они как-то привычнее. И не будем строить иллюзий. Читая любой роман XIX в., мы увлечены в первую очередь сюжетными коллизиями и раздраженно пропускаем абзацы, перелистываем страницы, где раскрывается внутренний мир героя. Нам не терпится узнать, что будет дальше, а остальное закономерно отодвигается на второй план. Таким образом, человек сводится к абстрактной схеме сюжета. Авторы вовсе не хотели, чтобы мы их так читали, но они нас спровоцировали...

Поэтому Вирджиния Вулф и обвиняла писателей-реалистов в недостаточной реалистичности. Жизнь в своей первозданности, непредсказуемости и изменчивости изгнана из их произведений. Она выглядит отмеренной, рассчитанной, логически выверенной. Вместо правдивого изображения действительности и человека реалисты предлагали читателю, по ее мнению, какие-то псевдообъективные, абстрактные схемы. Мир реалистического романа казался ей абсолютно неправдоподобным или, как сейчас модно выражаться, *виртуальным*.

В своих произведениях, предшествовавших «Орландо», например в «Миссис Дэллоуэй», Вирджиния Вулф отказывается от метода стороннего описания. Она заставляет читателя увидеть мир глазами своего персонажа. События, факты, явления действительности говорят не столько о себе, сколько о том, кто их воспринимает. Они становятся содержанием впечатлений, противоречивых и все время меняющихся. Таким образом, реальность предстает субъективно окрашенной, индивидуальной, а жизнь оказывается не статичной, как у реалистов, а изменчивой, зыбкой, движущейся. Этот метод усиливает реалистичность художественной действительности. Иллюзия виртуальности, неправдоподобия пропадает. Мы внутри изображаемого мира, а не вне его. С внешней биографии персонажа мы (на это,

по крайней мере, надеется Вулф) переключаем внимание на внутреннюю жизнь.

Английская публика была вправе ожидать, что в очередном произведении Вирджиния Вулф продолжит совершенствовать свой метод. В романах, последовавших за «Орландо», так оно и произошло. Но в самом «Орландо» писательница как будто бы противоречит собственным принципам. Нас не пытаются убедить в истинности происходящего в романе. Поразительно! Но Вирджиния Вулф, еще недавно отчитывавшая зубров английской прозы, как школьников, за то, что они недостаточно правдивы, в «Орландо» полностью разрушает у читателя иллюзию реальности описываемых ею событий. Она намеренно подчеркивает, что перед нами не живые люди, а вымышленные персонажи и не действительность, изменчивая и неповторимая, как в романе «Миссис Дэллоуэй», а фиктивное пространство художественного текста. При этом происходит разделение сознания автора на того, кто пишет роман о судьбе Орландо, и на того, кто наблюдает за этим процессом. Объектом внимания, как мы видим, здесь становится не только материал, но и сам художественный процесс. Вирджиния Вулф выступает в роли интерпретатора романа, причем ее интерпретация включена в само произведение. Повествователь (его не надо путать с самой писательницей) поминутно останавливает свой рассказ, словно переводя дух. Он не прочь поболтать с читателем, будто завзятый критик, и объяснить ему, по каким правилам он работает. Вулф препарировывает свой текст, показывает нам, как он сделан. Ее внимание сосредоточено на творческом процессе. Иногда сам материал отступает на второй план и не интересует автора, как, например, в четвертой главе романа: «А покамест она едет, мы воспользуемся случаем (поскольку пейзаж за окном – обыкновенный английский пейзаж, не нуждающийся в описаниях) и привлечем более подробное внимание читателя к нескольким нашим замечаниям, оброненным там и сям по ходу рассказа».

Словом, в качестве предмета изображения в «Орландо» на первый план выходит процесс сочинения художественного произведения. Но какого типа произведения? Который больше всего не устраивал Вулф, а именно *романа-биографии*. В предыдущих произведениях писательница просто игнорировала приемы биографического повествования. Теперь она включает их в свой текст и иронически обыгрывает, обнажая их условность. В «Орландо» нам рассказывается о том, как пишется биографический роман, вернее, как повествователю не удастся его написать. Механизмы и способы создания такого романа совершенно не работают. С их помощью невозможно рассказать о жизни и личности человека, о чем нам сообщает рассказчик уже в самом начале повествования: «Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза – и мы вынуждены будем признать тысячи неприятных вещей, мимо которых обязан скользить всякий уважающий себя биограф». У Вулф приемы биографической прозы парадоксальным образом не работают там, где они как раз могли бы работать. Например, о константинопольском периоде жизни Орландо нам почти ничего не рассказывается, хотя нас уведомляют, что он был чрезвычайно насыщен событиями, – и только! Любой биограф (и мы вправе этого ожидать) забросал бы нас десятками авантюрных историй. Но Вирджиния Вулф обманывает ожидание читателя. Факты, события оказываются отнюдь не главным материалом, не обязательным для изложения. Их наличие никак не приблизит нас к пониманию героя.

Препарирование и разрушение биографического метода, обнажение его фиктивности осуществляется в романе самыми разными способами. Прежде всего, биография всегда претендует на правдивость, и это входит в противоречие с фантастическим сюжетом, который становится в романе ее основой. Мы ведь никогда не поверим, что человек может жить триста лет да еще во сне сменить мужской пол на женский.

Кроме того, в тексте то и дело возникают ошибки и нарочито неуклюжие попытки мистифицировать читателя, на которые Вирджиния Вулф сама нам указывает. Повествователь приписывает поступки одних исторических персонажей другим, постоянно искажает самые известные исторические факты. Наконец, забавнее всего выглядят совпадения. Вспомним, как в четвертой главе романа, вернувшись на родину, Орландо смотрит в окно лондонской кофейни и – надо же! – видит там известных английских

литераторов (сразу всех вместе!), чьи имена уже стали хрестоматийными: Аддисона, Драйдена и Попа. К слову добавим, что Драйден скончался, когда Попу было всего 12 лет. В романе же создается впечатление, что все они приблизительно одного возраста. Мало того, они еще изъясняются цитатами из собственных сочинений! В этом есть что-то до боли нам знакомое. Вспомним старые советские фильмы о наших великих соотечественниках, писателях или ученых прошлого. Белинский, Гоголь, Некрасов, Тургенев вдруг разом оказываются в одной комнате и с тревогой обсуждают судьбу, к примеру, Лермонтова, перемежая фразы из собственных сочинений с дурацкими цитатами из вузовского учебника по русской литературе. В «Орландо» Вирджиния Вулф заставляет нас смеяться над подобными приемами биографий. Она утрирует их, доводит до абсурда, вскрывая их фиктивность и условность.

Методы биографической прозы перестают работать в романе «Орландо» еще и потому, что они сочетаются здесь с импрессионистической техникой предыдущих произведений Вирджинии Вулф. О ней уже шла речь выше, и я не буду повторяться. После первых страниц нам может показаться, что Вулф противопоставляет один способ повествования (свой любимый) другому (стороннему наблюдению). Читатель видит импрессионистические зарисовки, воспринимает реальность глазами Орландо, а о биографии узнает, что она никуда не годится. Но что-то все-таки отличает «Орландо» от «Миссис Дэллоуэй». Даже самое внимательное прочтение романа не дает нам ощутить, что мы погрузились в реальный изменчивый мир, с которым мы соприкоснулись в «Миссис Дэллоуэй». Все дело в том, что Вирджиния Вулф, обыгрывая приемы биографической прозы, точно так же вскрывает и обнажает свой собственный импрессионистический метод. Отчасти писательница иронизирует над собой, дистанцируясь от свойственной ей художественной манеры. В середине второй главы она ее даже не столько применяет, сколько интерпретирует, рассказывая читателю, словно критик или философ, об относительности восприятия времени и пространства. Вулф утрирует приемы импрессионистической прозы.

Как это происходит? В предыдущих романах мир, представленный в восприятии персонажа, все время меняется; эмоции развиваются, перетекают одна в другую, но никогда не формируются в идею, концепцию. Ведь иначе мы утратим ощущение бесконечной реальности. Теперь обратим внимание на то, что происходит в «Орландо». Герой испытывает эмоции, но они всегда приводят его к идее, к концепции или даже к банальному штампу. Иногда Вирджиния Вулф и вовсе сводит метод на нет, высказывая какую-то мысль, а затем «разворачивая» ее эмоциональную подоплеку. Читатель с легкостью обнаружит и другие способы обнажения механизмов импрессионистической прозы, например в третьей главе, где обыгрывается излюбленный прием Вирджинии Вулф – восприятие героя несколькими персонажами.

«Орландо» представляет собой пространство, где разворачивается удивительная игра в литературу, и потому оно при кажущемся отсутствии единства (с этого мы начали разговор о романе) совершенно однородно. Однако эта игра имеет гораздо более сложный характер, чем может показаться на первый взгляд. Ведь жизнь Орландо любопытным образом перекликается с историей английской литературы. Напомним, что Вирджиния Вулф была не только крупнейшей писательницей, но одним из самых влиятельных критиков своего времени, оставившим после себя огромное число статей и эссе.

И в «Орландо» она иронически обыгрывает разработанные ею самой методы *критического анализа*. В нескольких словах я постараюсь напомнить, в чем они заключались.

Мне думается, что эту статью, которую сейчас читатель пробегает глазами, Вулф вряд ли бы одобрила. Она не раз давала понять, что всякая попытка научно проанализировать художественное произведение, «измерить» его, разложить на составляющие равнозначна его убийству. Наука о литературе может рационально объяснить все в произведении, кроме самого главного, того, что рассудку неподвластно. Ведь это организм. В нем есть дух, свет, какая-то невысказанная тайна, которая как раз и делает его эстетически значимым. В

большинстве своих эссе Вирджиния Вулф и пыталась передать свое ощущение этой тайны, каждый раз неповторимое, и сделать причастным к ней читателя. Ее внимание всегда было сконцентрировано не на художественной материи (как у автора этих строк), а на неуловимой интонации анализируемого ею художника, на каких-то внешних малозначительных деталях, которые читатель мог бы не заметить. Эссе Вулф заставляют нас погрузиться в сердцевину произведения, проникнуть по ту сторону языковых знаков, отделяющих нас от его души.

Но вернемся к «Орландо». Здесь безусловно присутствует описанный нами принцип работы эссеиста. Повествователь предлагает нам не исторический или научный обзор каждой из литературных эпох, а предоставляет возможность ощутить ее дух, взглянуть на нее так, как если бы читатель в ней жил. Нам прежде всего рассказывается о том, как люди воспринимали окружающий их мир. Повседневная реальность пропущена сквозь сознание Орландо, который живет последовательно в различных эпохах. Следовательно, то, что он видит, и то, как он это видит, отражает дух искусства соответствующего века.

Орландо елизаветинской поры, как и все искусство того времени, наделен умением различать все грани мира, переживать полноту каждого момента жизни. В эпоху барокко это ощущение дополняется мыслью о зыбкости ярких форм внешнего мира, о близости смерти и тлена, об иррациональных таинственных силах, управляющих Вселенной, – темы, которые легко можно обнаружить в стихах английских поэтов-метафизиков. Читатель, имеющий даже самое отдаленное представление о веселых и несколько легкомысленных нравах эпохи Реставрации, тотчас же поймет перемены, произошедшие с Орландо; герой (героиня) увлекается внешним обустройством интерьеров своего дома и задает роскошные пиры. Искусственный мир салонов, в которые попадает Орландо, и литература, исполненная рассудочности и здравого смысла, весьма точно передают атмосферу XVIII в. Наконец, ощущение размытости внешних форм действительности (романтизм), а затем противоестественной чопорности викторианской эпохи позволяет читателю почувствовать мировидение человека XIX в.

И все же «Орландо» принципиально отличается от ключевых эссе Вулф. Здесь писательница предельно *обнажает*, нарочито огрубляет приемы и стиль своих литературно-критических работ. Читателю показан весь инструментарий теоретического анализа. Мы начинаем осознавать, что любая интерпретация страшно условна, и Вирджиния Вулф подталкивает нас к этому выводу, не позволяя поверить критическим рассуждениям повествователя.

Так, в первой главе романа мы узнаем, что, оказывается, на закате XVI в. в Англии был совершенно другой по сравнению с XX в. климат: «Век был елизаветинский; их нравы были не то что наши нравы; ну и поэты тоже, и климат, и даже овощи. Все было иное. Сама погода, холод и жара летом и зимой были, надо полагать, совсем, совсем иного градуса. Сияющий, влюбленный день отграничивался от ночи так же четко, как вода от суши. Закаты были гуще – красней; рассветы – аврористее и белей». Безусловно, речь здесь идет о мировидении людей, об их восприятии природы. И в ряде эссе Вулф использует подобный прием. Но в данном случае нельзя не заметить излишней категоричности повествователя. Он словно дает нам понять, что его утверждение ложно. Читатель никогда не поверит, что климат в Англии за триста лет действительно так изменился. Обыгрывание этого приема выглядит еще более радикальным в самом начале пятой главы романа, где повествователь сообщает нам, что на протяжении всего XIX в. непрерывно шли дожди, повлиявшие на жизнь и мировосприятие англичан.

Отметим еще одну особенность. Во многих своих эссе Вулф очень часто интерпретирует того или иного автора, ограничиваясь анализом каких-то незначительных нюансов и деталей. Но самое удивительное, что такой анализ приводит писательницу и ее читателя к постижению самого существенного в творчестве этого автора. В «Орландо» мы обнаруживаем этот прием, но Вирджиния Вулф опять-таки лишь играет в него, раскрывая его механизм. Если внимательно читать текст, то можно заметить, что прием на самом деле не работает. Повествователь идет отнюдь не от частных деталей к общему пониманию

литературной эпохи. Все происходит наоборот: повествователь, обладающий самыми общими «книжными» знаниями о той или иной эпохе, попросту «подбирает» нужные ему факты, соответствующие тенденциям времени.

Игру в романе можно обнаружить и на языковом уровне. Вулф использует языки различных эпох, стилизуя и воссоздавая в соответствующих главах художественную речь, свойственную, к примеру, барочным авторам, прозаикам XVIII в. или почитаемой ею Джейн Остин. Она препарировывает их приемы, показывая читателю, что язык – система, не совпадающая с действительностью. Дело не в том, *что* сказать, а в том, *как* сказать, ибо форма сама по себе значима и может изменять наш взгляд на мир.

Неизменным в романе остается лишь человек. Ни время, ни даже смена пола не делают его иным. Орландо вынужден (-на) смотреть на мир сквозь стереотипы каждой эпохи, но внутренне он остается прежним. Его (ее) стремление пробиться сквозь сетку языковых знаков к истине и сущности жизни обусловлено необходимостью чувствовать их относительность. И блистательная литературная игра, затеянная Вирджинией Вулф в «Орландо», ставит своей целью защитить идею внутренней свободы человека, ибо лишь ему дана возможность создавать и изменять мир.

Андрей Аствацатуров

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](http://TheLib.Ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Эссе»](#)